

Владимир Николаевич ПЕРЦЕВ
(27.07.1877 – 3.05.1960)

ОЧЕРК ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ XVIII века

**Министерство высшего образования
Белорусский государственный университет им. В.И.Ленина
Минск, 1959.**

Веб-публикация: [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#), 2009.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В издаваемой книге автор не имел в виду дать систематическое изложение истории Германии XVIII в. В ней отсутствуют разделы, относящиеся к комплексной истории Австрийской, монархии XVIII в. и к мелким германским государствам. В сравнении с общим небольшим размером книги в ней довольно много места уделено культуре Германии XVIII в, что автор нашел необходимым, сделать, потому что этот раздел обычно в учебных пособиях по всеобщей истории излагается слишком кратко

Автор вполне сознает неполноту своей книги и отсутствие в ней систематической последовательности в изложении. Он ставил задачей ограниченную цель — в популярной форме осветить для студентов вузов, особенно для заочников, а так же и для преподавателей те вопросы истории Германии XVIII в, которые особенно ярко характеризуют в ней столкновение феодальных и формирование капиталистических элементов.

Из этих элементов автор особенно хотел обратить внимание студентов на те из них, которые сравнительно недостаточно освещены в учебной и популярной, доступной для широких кругов советского общества литературе и нуждаются в дополнениях.

Поэтому в своей небольшой книге он нашел нужным выделить вопросы, связанные с состоянием и сельского хозяйства, промышленности, торговли Германии в конце XVII и в начале XVIII в., политической, экономической и социальной политикой Фридриха II общественно-политической идеологией Германии рассматриваемого времени

Не претендуя на полноту в рассмотрении всех явлений истории Германии XVIII в., автор надеется, что и в настоящем виде книга принесет некоторую пользу учителям и студентам высших учебных заведений, а также широким кругам советской интеллигенции, интересующимся историей Германии XVIII в. и ее культурой.

Автор

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ в конце XVII и в XVIII в.

Экономический упадок Германии после Тридцатилетней войны

Политическая раздробленность

Общегерманские власти

«Мелкодержавие»

Положение крестьян

Северо-Запад

Юго-Запад и Юг

Северо-Восток. «Второе издание» крепостного права

Сгон крестьян с земли

Пруссский путь развития

Домашняя система промышленности

Рассеянная и централизованная мануфактура

Меркантилизм

Цеховое ремесло

Торговля

II. ПРУССИЯ в XVIII в.

Дворянская военно-бюрократическая монархия

Фридрих II

Захват Силезии

Пруссия и Германия

Внутренняя политика Фридриха II

«Просветительная» маскировка

Крестьянская политика

Промышленная политика

Колонизаторская политика

Налоговая политика

Централизация и деспотизм

III. КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ в XVIII в.

Философия, общественные науки и литература

Основные черты немецкой культуры XVIII в.

Немецкое буржуазное просвещение

Христиан Вольф (1679-1754)

Кристоф-Фридрих Николаи (1733-1811)

Моисей Мендельсон (1729-1786)

Герман-Самуил Реймарус (1694-1768)

Готгольф Эфраим Лессинг (1729-1781)

Иммануил Кант (1724-1804)

Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803)

Юстус Мезер (1720-1794)

Август-Людвиг Шлецер

Арноль-Герман Геерен (1780-1842)

Увлечение античностью. Иоганн-Иоахим Винкельман (1717-1768)

Немецкая литература второй половины XVIII в.

Фридрих-Готлиб Клопшток (1724-1803)

Христофор-Мартин Виланд (1733-1813)

Лессинг

Литература «бури и натиска»

Гаман (1730-178). Иоганн-Вильгельм Гейнзе. Кристоф Кауфман. Фридрих-Максимилиан

Клинггер (1752-1831). Иоганн-Гейнрих Фосс (1751-1826). Готфрид-Август Бюргер (1747-1794).

Якоб-Михазель Ленц (1751-1792). Христиан-Фридрих Шубарт (1739-1791).

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)

Иоганн-Фридрих Шиллер (1759-1805)

Дополнительно:

[**Н.Яковлев. «Дипломатическая революция» накануне Семилетней войны**](#)

[**К.Шубарт. Стихотворения. Публицистика**](#)

[**Г.Форстер. Революционные события в Майнце**](#)

[**О «Богах Греции» Шиллера**](#)

[**Парижские очерки \(семь писем другу, брюмер-фример II года Республики\)**](#)

[**Политические речи и статьи**](#)

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ XVII и в XVIII в.

После поражения крестьянства и плебейских масс города в Великой крестьянской войне 1525 г. Германия на долгий срок впала в состояние экономического и политического упадка. Те черты капиталистического уклада, которые намечались в рамках феодальной формации в первые десятилетия XVI века, надолго заглохли. В то время, как в соседних с Германией странах Западной Европы—Голландии, Англии и Франции—укреплялась буржуазия, росли капиталистические отношения и образовывались сильные центральные власти, в Германии усиливалась феодальная эксплуатация крестьянства, падали городское ремесло и торговля и укоренялось политическое раздробление страны.

Еще больший внутренний упадок и еще большее международное ослабление принесла Германии Тридцатилетняя война.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ- ЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Время, непосредственно следовавшее за Тридцатилетней войной, было периодом глубочайшего экономического, политического и культурного упадка Германии. «Когда наступил мир, — говорит Энгельс в «Марке», — Германия лежала беспомощной, растоптанной, растерзанной, истекая кровью...»¹ Тридцатилетняя война углубила и закрепила те явления, которые обнаружились непосредственно после реформации: во-первых, разорение крестьянских масс; во-вторых, упадок городов, торговли и промышленности; в третьих, политическую слабость Германии. Опустошения, внесенные в хозяйственную жизнь Германии Тридцатилетней войной, были необычайны. Особенно тяжелые удары потерпело деревенское население, потому что в период войны оно было менее защищено от анархии и бесчинства разнузданной военщи-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 642.

ны, чем города. Целые деревни сносились с лица земли, скот уничтожался, и крестьяне бежали, куда глаза глядят. Необычайно усилилось число бродяг и разбойников, против которых власти употребляли жестокие меры, напоминая систему кровавого законодательства в Англии. Разорением крестьян помещики воспользовались зетем, чтобы захватить их земли и подчинить крестьян самым тяжелым повинностям. «Крепостное состояние стало теперь всеобщим,—говорит об этом времени Энгельс,—свободный крестьянин стал теперь такой же редкостью, как белая ворона».¹ Города пострадали несколько меньше, но и их потери были велики. Из войны германское бюргерство вышло обедневшим. В горных местностях штольни находились в забросе, шахты бездействовали. Для текстильных предприятий время Тридцатилетней войны было настоящей катастрофой: в Аугсбурге из 6 тыс. ткачей после войны осталось только 500.

Торговля после Тридцатилетней войны также сузилась. Разорение страны, всеобщее господство крепостного права и многочисленные внутренние таможи сократили внутренний рынок, а конкуренция других, более передовых стран,—внешний.

Огромное большинство сохранившихся торговых и ремесленных центров имело лишь местное и ограниченное значение. Германский купец был мелочным лавочником, разъездным торговцем или только агентом других, более крупных, по большей части английских и голландских, коммерсантов.

При таком положении вещей

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗ- единого внутреннего рынка в
ДРОБЛЕННОСТЬ Германии образоваться не могло.

Отсутствие экономического единства было связано с отсутствием единства политического: «Раздробленности интересов соответствовала и раздробленность политической организации—мелкие княжества и вольные имперские города. Откуда могла взяться политическая концентрация в стране, в которой отсутствовали все экономические условия этой концентрации?» — спрашивают Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии».² Государственное единство в тогдашней Германии было фикцией. В официальных актах не употреблялся даже и термин «Германия». Страна, находившаяся под номинальной властью Габсбургов, носила официальное название «Священной Римской империи», но этот термин по существу ничего не выражал: каждый князь обладал полными правами суверенитета, доходившими до права ведения самостоятельных внешних сношений. Поэтому Гегель мог с полным правом назвать господствова-

вший тогда в Германии строй «конституированной анархией». Число суверенных князей в Германии, включая всякого рода княжескую мелкоту, доходило до 360, причем особенно велико это дробление было на западе и на юго-западе Германии. Это мелкодержавие ложилось чрезвычайной тяжестью на плечи населения. Фридрих II говорил (в «Антимакиавелли»), что «даже среди младших членов владетельных домов не было никого, кто не воображал бы себя похожим на Людовика XIV; каждый строил свой Версаль, имел своих метресс и держал свои армии». При дворах маленьких князей содержались целые штаты придворных—гофмейстеров, шталмейстеров, камергеров, их дворцы украшались гобеленами, придворные одевались в шелка и кружева, устраивались частые карнавалы и фестивали. Вся эта показная роскошь вполне совмещалась с необычайной скудностью княжеских финансов; дворцы князей плохо отапливались, собственных слуг они держали впроголодь. Князья были по существу мелкими тиранами, с крайней грубостью и произволом вмешивавшимися в жизнь своих подданных. Неплатеж долгов, злоупотребления властью, разврат, истязания подданных, раздача рент своим незаконным детям, продажа подданных, «словно негров», в солдаты—были обычными явлениями при дворах этих ничтожных деспотов. Один из них—Карл-Фридрих-Вильгельм Ансбахский однажды подстрелил трубочиста на крыше для забавы своей любовницы, которая хотела насладиться зрелищем летящего вниз головой человека, и затем отделался от жалобы вдовы тем, что бросил ей пять гульденов.

ОБЩЕГЕРМАНСКИЕ ВЛАСТИ

Значение общегерманских властей было ничтожно. Формально Священная Римская империя имела центральные органы власти, но фактически все они были бессильны. Высшей из них была власть императора. Но у императора не было ни имперской армии, ни чиновничьего аппарата, ни финансов, и все попытки создать все это неизменно кончались неудачей. Поэтому император мог располагать только теми средствами, которые он получал со своих наследственных габсбургских (т. е. австрийских) владений. Фактически права императора ограничивались только дарованием титулов и почетных привилегий и некоторыми административными распоряжениями, касавшимися устройства армарок.

Другой общей властью был рейхстаг, но и он в XVII—XVIII веках потерял всякое значение. Уже в 1663 г. князья перестали являться на заседания рейхстага лично, а только посылали на них своих представителей—послов. Рейхстаг состоял из трех курий—курфюрстов, князей и городов, но только курфюрсты обыкновенно посылали каждый в отдельности своих послов, а более мелкие князья чаще всего поручали

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 643.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, стр. 175.

защиту своих интересов послам других княжеств. Представители же от городов редко и неохотно посещали заседания рейхстага, потому что их вес в нем был невелик и послы князей третировали их как людей низшего ранга. Число представителей, собиравшихся на заседания рейхстага, обычно было невелико, редко больше 30. По каждому вопросу они должны были запрашивать свои правительства; те же не спешили с ответами, хорошо зная бессилие рейхстага. При таких условиях обсуждение дел тянулось до бесконечности. Важные вопросы почти никогда не доводились до конца; если же рейхстаг и выносил какое-либо решение, то оно наталкивалось на сопротивление местных властей. С 1653 г. для действительности постановлений рейхстагов в вопросах финансового обложения требовалось единогласие; это совершенно парализовало их деятельность. Поэтому они нередко предпочитали обсуждать на своих заседаниях вопросы этикета или вопросы о рангах послов (так, живые споры возбуждало требование послов ставить их стулья на бахроме того ковра, на котором помещались стулья курфюрстов).

Кроме императора и рейхстага, были еще и другие центральные органы: имперский суд (Reichskammergericht), который прославился тем, что дела в нем дожидались очереди в течение ста лет и более и образовывали целые горы; имперский придворный совет (Reichshofrat) был конкурирующей с имперским судом инстанцией, с тою же волокитой; тайный совет (Geheimrat) и др. Все эти учреждения были так же бессильны, как и императорская власть и рейхстаг. В Германии не было даже единого центра для пребывания в нем всех этих имперских властей. Император со своей канцелярией и имперским советом находился в Вене, рейхстаг собирался в Регенсбурге, а императорский верховный суд — в Воцларе.

Одним из институтов, которые должны были поддерживать государственное единство, было деление империи на округа (Kreise) независимо от деления на княжества. Таких округов было десять, во главе каждого из них стояли свои начальники с подчиненными им советниками. Но администрация округов была совершенно бессильна перед князьями и их властями. Священная Римская империя, таким образом, формально и фактически оставалась страной княжеского абсолютизма.

За князьями в стремлении к независимости тянулись и многочисленные имперские рыцари, число которых доходило до 1500 и которые были полусуверенами в пределах своих миниатюрных владений. По закону они не имели права собственного законодательства, но из подсудности княжеским законам они были изъяты. Некоторые из них имели под своей властью всего половину, треть или чет-

верть какого-либо местечка и тем не менее вели себя в своих владениях как тираны. Своими бесчинствами, произвольными действиями и преступлениями, доходившими до убийств и отравлений неугодных им лиц и до прямой измены государству, они представляли собой один из главных факторов анархии. В неповиновении закону и в полном своеволии им подражало все дворянство, не исключая и низшего. Дворяне третировали бюргеров, городских служащих и даже княжеских чиновников как мелких людишек. Так, в конце XVIII века один лейтенант дворянского происхождения приказал дать 25 палочных ударов некоему камеррату (второстепенному чиновнику) за то, что тот не снял перед ним шляпу. Княжеская и имперская власть не могла бороться с такого рода произволом, а иногда даже, нуждаясь в поддержке дворян, становилась на его защиту, покрывая своевольные поступки дворян, освобождая их от уплаты долгов или давая им длительные моратории. При таком положении бюргеры должны были молча терпеть издевательство дворян над ними и наблюдать, как те роскошествовали, прокучивая деньги, которые брали «в долг» у бюргеров же. А между тем дворяне даже и по внешности представляли собою невежественную, грубую и некультурную массу, стоявшую далеко позади французских дворян того времени, усвоивших себе, по крайней мере, внешний лоск.

Прекрасную характеристику этому господству мелкодержавия и дворянского своеволия дали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии»: «Старое феодальное дворянство было большей частью уничтожено в крестьянских войнах; остались либо имперские мелкие князьки, которые постепенно добыли себе некоторую независимость и подражали абсолютной монархии в крошечном и провинциальном масштабе, либо мелкие помещики, которые, спустив свои последние крохи при маленьких дворах, жили затем на доходы от маленьких мест в маленьких армиях и правительственных канцеляриях, — либо, наконец, захолустные дворянчики (Krautjunker), которые вели такой образ жизни, которого устыдился бы самый скромный английский сквайр или французский gentilhomme de province (провинциальный дворянин)».¹

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН

Одним из главных препятствий к хозяйственному подъему Германии была господствовавшая в ней повсеместно крепостная зависимость крестьян от помещиков. Формы этой зависимости были чрезвычайно разнообразны. Это вполне понятно, так как в каждом княжестве отношения крестьян к помещикам регулировались на основе местного законодательства, вытекавшего из особенностей

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, стр. 174.

развития отдельных районов. Однако Германию XVIII века по аграрному строю можно разделить на три основные области: северо-западную (Вестфалия, Нижняя Саксония, Ганновер, отчасти курфюршество Саксония, Гессен-Кассель и другие мелкие государства северо-западной Германии), юго-западную и большую часть южной Германии (Рейнская область, Гессен-Дармштадт, Тюрингия и большая часть государств южной Германии) и северо-восточную (главным образом, Пруссия в своей бранденбургской и прусской частях с Мекленбургом и Померанией, Силезия, присоединенные польские области и пр.). Кроме этих районов, существовали районы переходного типа. Так, в некоторых частях Ганновера и в северо-восточной части теперешней провинции Саксонии держались порядки, переходные от северо-западных к северо-восточным, а в Баварии, Вюртемберге и Пфальце было много общего с саксоно-вестфальским районом, а отчасти и с прусским. При этом иногда в пределах одной и той же области существовало много местных особенностей и разнообразия. В обобщенном виде картина аграрных отношений Германии представляется следующей.

СЕВЕРО-ЗАПАД

На северо-западе держалась та форма сеньориального строя, которая носит название «Grundherrschaft». Площадь помещичьего землевладения здесь была невелика, и помещик редко вел самостоятельно хозяйство. Даже площадь своей собственной запашки северо-западные помещики с начала XVIII века часто сдавали в аренду. Крестьянские дворы были довольно значительны по своим размерам. Здесь действовало так называемое нижнесаксонское мейерское право, или вестфальское право. По нижнесаксонскому праву крестьянин обладал наследственными правами на свой земельный участок, который целиком предоставлялся одному из сыновей. Удалить крестьянина с земли помещик мог только по суду. При этом на место удаленного он обязательно должен был посадить нового держателя. Но и сам крестьянин не мог без согласия землевладельца ни отчуждать, ни закладывать свой участок.

Кроме мейерских крупных участков, в Нижней Саксонии существовали более мелкие, имевшие характер огородов с прилегающими к ним усадьбами и иногда клочками полевой земли. Крестьянин по нижнесаксонскому праву считался лично свободным, потому что имел право свободы передвижения и свободы личных занятий.

По вестфальскому праву крестьянин также обладал правом наследственного пользования своим земельным участком, но он находился в более строгом подчинении помещичьей власти, чем по нижнесаксонскому праву. Его зависимость здесь

носила название «крепостной принадлежности» (Eigenhörigkeit), которая формально толковалась как зависимость по земле, но фактически была связана с целым рядом и личных ограничений. Дети крестьянина подлежали обязательной службе в доме или во дворе помещика (GesindeDienst) обычно в течение полугода. Помещик имел право давать или не давать согласие на брак крестьянина, причем брал за согласие вознаграждение, так называемый выкуп за невесту. Даже своим движимым наследством крестьянин мог распоряжаться только наполовину. После смерти прежнего держателя его наследник должен был платить за право наследования выкуп, размер которого был неопределенным. Уйти от помещика вестфальский крестьянин мог только уплатив выкуп. Крестьянина здесь можно было даже и продавать, но только с землей.

Самой характерной особенностью территории согласно нижнесаксонскому и вестфальскому праву было то, что ввиду сравнительно малых размеров помещичьего землевладения помещик был заинтересован не столько в крестьянском труде, сколько в крестьянском оброке. Однако, поскольку у помещика была своя, хотя и небольшая, запашка, она обслуживалась даровым крестьянским трудом (Frohdienst), размер которого в общем был значителен.

Буржуазная наука склонна характеризовать северо-западных крестьян как людей, имеющих обеспеченное право на свои земельные участки и подлежащих сравнительно небольшим повинностям, но ни фактическое положение вещей, ни действовавшее тогда право не соответствуют этой концепции. Ни обеспеченного права владения землей, ни даже свободно распоряжения своей личностью крестьянин здесь не имел.

Главной гарантией крестьянских прав на землю в этом районе был не закон, а отсутствие у помещика заинтересованности в захвате крестьянской земли. Западная половина Германии была отделена от главных морских гаваней Голландией и Францией, вывоз сельскохозяйственных продуктов отсюда был затруднен, и увеличивать размеры своих владений путем захвата крестьянской земли для помещиков здесь не имело смысла, тем более, что мелкодержавие, особенно развитое на западе, давало дворянам возможность пристроиться на доходные должности при канцеляриях и дворах многочисленных князей.

В основном помещик на северо-западе и мало продавал и мало покупал, предпочитая пользоваться тем, что давали ему крестьянские оброки и отчасти его собственное хозяйство. Таким образом, здесь капиталистические элементы в помещичьем хозяйстве почти совсем не имели места.

На юго-западе и юге мы видим по отдельным местностям особенное разнообразие в аграрном строе. Поэтому здесь отношения крестьян к земле и к землевладельцам носили чрезвычайно путанный характер. Самою общою чертою для всего юго-западного и южного района нужно считать преобладание здесь так называемого франкского права, по которому крестьянин, хотя и обремененный оброками (Abgaben), службами (Dienste) и десятинами (Zehnten) и подчиненный верховной власти помещика, все-таки был более свободен в праве раздела, закладывания и отчуждения своей земли, чем на северо-западе. Вследствие допущения делимости и отчуждаемости крестьянских участков они дробились и часто доходили до карликовых размеров. В большинстве районов юго-запада и юга господствовало мелкое парцеллярное крестьянское хозяйство. Но и помещичье хозяйство здесь не достигало обычно крупных размеров, кроме некоторых районов Старой Баварии. При малых размерах помещичьего землевладения требования помещика к земле крестьянина основывались, главным образом, не на потребностях помещичьего хозяйства, а на сеньориальных правах землевладельца. Территориальные князья и сам император охотно уступили помещикам владельческие права, прежде всего — право суда. Поэтому землевладелец здесь являлся носителем как бы верховных прав на землю, сеньором, а не был помещиком в собственном смысле слова. Здесь его положение Grundherr'a выступало в наиболее яркой, как бы очищенной от частнохозяйственных прав форме. При этом многие из более влиятельных дворян, развивая дальше свои сеньориальные владельческие права, делали маленькими князьками, что и лежало в основе чрезвычайного развития самостоятельности мельчайших графств и имперских рыцарств в этом районе, т. е. в основе юго-западного и южного мелкодержавия. Судебные пошлины, десятины, подводные, дорожные и другие повинности здесь были чрезвычайно многочисленны и разоряли крестьян. Их тяжелое положение усугублялось еще и тем, что князьки добивались права собственности над альмендами, т. е. общественными лугами и лесами, и во многих случаях имели в этом отношении успех.

СЕВЕРО-ВОСТОК
«ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ»
КРЕПОСТНОГО
ПРАВА

Совершенно противоположный характер имело дворянское хозяйство в третьем — северо-восточном районе, т. е., главным образом, в Прусско-бранденбургском государстве. Это были области так называемого «второго издания» крепостного права. Оно заключалось в том, что уже с XVI века, а особенно «...в период между Тридцатилетней вой-

ной и спасительным поражением при Иене»,¹ в бранденбургско-пруссских владениях положение крестьян резко ухудшилось. В период колонизации Бранденбурга и Пруссии немцами немецкие крестьяне, приходившие сюда из старой Германии, получали целый ряд льгот и привилегий и были лично свободны. Это и было основной причиной того, что крестьянское движение конца XV и первой четверти XVI века нашло очень слабое отражение на востоке. Но положение стало меняться с XVI века. Основной причиной этого, как указал Энгельс, было то, что «... феодальное дворянство становилось все более и более буржуазным».² С одной стороны, для прусско-бранденбургского дворянина открывалась все большая возможность ведения товарного хозяйства, особенно вследствие захвата Пруссией и Бранденбургом выходов к Балтийскому морю и развития хлебного экспорта в Голландию, Англию, Швецию и другие прибалтийские страны; с другой стороны, развитие буржуазных отношений вызвало у дворянина потребность в деньгах, и он поэтому попал в должники городских денежных капиталистов. Хлебный экспорт и задолженность помещиков имели одно и то же следствие — повышение эксплуатации крестьянского труда и рост захватнических стремлений по отношению к крестьянской земле. Сам крестьянин не вел товарного хозяйства, поэтому из него «...никаких денег нельзя было выколачивать». Зато из него можно было выжимать труд и захватывать принадлежавшую ему землю. В эту сторону и направились стремления помещика востока. Но для того чтобы облегчить себе этот путь захвата и усиленной эксплуатации, помещику надо было прежде всего обратить крестьян в крепостных. В основном в течение XVI—XVIII веков восточным помещикам и удалось сделать это с большим успехом.

Помимо указанных выше причин, связанных с развитием товарно-денежного хозяйства, закреплению крестьян на востоке содействовало еще и то, что дворянин вследствие всеобщего распространения огнестрельного оружия и даже артиллерии переставал быть рыцарем, живущим за счет войны, Силою вещей он принужден был превращаться в сельского хозяина, занятого единственной заботой об увеличении своих владений и о приобретении даровых рабочих рук для их обработки, тем более, что на востоке отсутствовали многочисленные княжеские дворы, при которых кормились дворяне запада и юга. Скопидомные же бранденбургско-пруссские монархи не обнаруживали никакого намерения кормить на государственный счет «благородных» носителей дворянского

¹ К Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. XVI, ч. I, стр. 243

² Там же, стр. 241

звания, а своим служащим—военным и гражданским—платили очень мало, работы же от них требовали большой.

Под влиянием всего этого на востоке уже с XVI века и стало складываться «второе издание» крепостного права. Это — «новое крепостное право», как говорит Энгельс в письме к Марксу от 16 декабря 1882 г., по сравнению с более ранним положением крестьян «...было чем угодно, только не смягчением».¹ Его главным отличием от прежнего крепостного права было то, что оно возникло на почве складывавшихся буржуазных отношений, ибо вызывалось стремлением помещика, с одной стороны, удовлетворить рыночный спрос на продукты сельского хозяйства, а с другой — свою нужду в деньгах. Для крестьян оно имело чрезвычайно тяжелые последствия. Здесь в разных районах восточной Германии, по отношению к крестьянам действовало различное право. Хуже всего было положение крестьян в Бранденбурге, Померании, Лифляндии и некоторых частях Восточной Пруссии, несколько лучше — во внутренних частях Бранденбургской марки и в Нижней Силезии.

Сущность изменений, которые претерпело крестьянство на востоке, выражалась в ухудшении его правового положения. Крестьяне теряли свои наследственные права на землю и превращались в ненаследственных пользователей земли, которые юридически разделились на группы, различно называвшиеся в разных местностях. Преобладающую группу среди них составляли так называемые ненаследственные ласситы, которых можно было прогнать с земли в любое время; по отношению к ним сложилась поговорка: «Крестьянин не должен готовить себе постель в течение дня, так как он не может знать, будет ли он еще ночевать на своем месте». Другая поговорка, касавшаяся Восточной Пруссии, звучала еще резче: «Крестьянин тот же вол, только у него нет рогов». Никаких прав распоряжаться землей, домом, ни даже своим инвентарем такой временный держатель помещичьей земли не имел, и все это могло быть передано землевладельцем по его усмотрению другим лицам. Отсутствие права распоряжения своим имуществом относилось даже и к группе наследственных держателей, которая постепенно уменьшалась. Большинство держателей помещичьих земель — и наследственных и ненаследственных — трактовалось как наследственные подданные помещика (Erbunterthänige). Крестьяне рассматривались как несвободные люди. Они не могли отказаться от принятия крестьянского двора и не могли его свободно покинуть ни при каких условиях. Они были также ограничены в праве вступления в брак, находились в судебной и дисциплинарной власти помещика, и их дети были обязаны по требованию по-

мещика служить в господском доме в качестве его домашних и дворовых слуг до достижения хозяйственной самостоятельности.

Еще хуже было положение той группы крестьян, которая считалась крепостными в собственном смысле (Leibeigene): они были прикреплены не к земле, а к землевладельцу; их можно было продавать без земли, они лишены были права приобретать собственное имущество. Еще в конце XVIII века бывали случаи, что помещики отнимали у них все, что они имели, в целях своего личного обогащения.

СГОН КРЕСТЬЯН С ЗЕМЛИ

Наряду с ухудшением правового положения крестьян шел процесс потери крестьянами их земли. В XVIII веке сгон крестьян с земли (Bauernlegen) принял особенно широкие размеры. Вследствие этого площадь господского имения росла, а крестьяне обезземеливались. Во многих случаях обезземеление крестьян доходило до того, что крестьяне становились коттерами (Kottsassene—малонадельные крестьяне), огородниками (в Силезии—Gärtner), бобылями (Häusler, Käthner, Büdner), поденщиками (Instleute) и тому подобными деревенскими бедняками, «...которые за хижину и небольшое картофельное поле должны из года в год без конца работать в господском поместье, получая нищенскую поденную плату зерном и очень немного деньгами».¹

Чем больше обезземеливались крестьяне, тем больше росло помещичье владение и соответственно с этим тем более увеличивались требования помещика на крестьянский труд. Требования эти выражались главным образом в барщине (Frohn). Перед барщиной в восточных областях Германии отступали на задний план и натуральные оброки и денежная рента. Чем дальше шло время, тем она более увеличивалась, доходя нередко до пяти-шести дней в неделю, так что крестьянину для обработки его собственного поля оставались лишь воскресные дни да лунные ночи. С более крупных участков крестьяне должны были выходить на барщину со своей лошадью (Spanndienste), с менее крупных — без нее (Handdienste), но и в том и в другом случае барщина была чрезвычайно тяжела. Таким образом, в этом районе развивалось типичное барщинное крупное хозяйство, известное под названием «Gutsherrschaft». В отличие от северо-запада, запада и юга крестьянское хозяйство здесь было не самостоятельным; оно было как бы только подспорьем для помещичьего, доставляя ему средства, без которых последнее не могло бы существовать. Помещик жил здесь не на счет крестьянской ренты (как на западе и юге), а за счет дохода

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 601

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 243

от своего собственного хозяйства, обслуживаемого барщинным трудом крестьянина.

ПРУССКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Хозяйство помещика приобретало здесь предпринимательский характер, и именно в этом районе закладывались основы будущего «прусского пути капиталистического развития», при котором крепостной помещик с течением времени постепенно трансформируется в юнкера-капиталиста и вместе с этим «весь аграрный строй государства становится капиталистическим, надолго сохраняя черты крепостнические».¹ Таким образом, не искоренение крепостничества, а использование его для развития капиталистических форм хозяйства—вот та задача, которую ставили себе трансформирующиеся из крепостников в юнкеров-капиталистов прусские помещики. «... крепостническое помещичье хозяйство,— говорит Ленин,—медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства «гроссбауэров» («крупных крестьян»)»² Но превращение прусского помещичьего хозяйства в капиталистическое в изучаемое нами время было еще делом более или менее отдаленного будущего. Пока же прусские восточные поместья только подготавливали предпосылки для аграрного капитализма—большие размеры господской запашки, привлечение большого количества рабочих рук (в изучаемое время еще чисто крепостных) и связи с рынком, на который «работали» восточные помещики. Путь к капитализму при этих условиях был медленным и связанным с мучительными бедствиями для основных масс крестьянского населения; по этому пути и пошла дальнейшая аграрная история Пруссии.

ДОМАШНЯЯ СИСТЕ- МА ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ

Из состояния экономического и политического упадка и социального одичания Германия выходила медленно. Первые перемены можно отметить уже с конца XVII века, но в ощутительной форме они дали себя знать, главным образом, в 20—30-х годах XVIII века. Их общий характер определялся распространением капиталистических отношений, главным образом в форме домашней системы промышленности и капиталистической мануфактуры, а также в начавшемся разложении цехового ремесла. При домашней системе промышленности скупщик-предприниматель отрезывал мелкого производителя—крестьянина или городского ремесленника—и от рынка, на котором он мог сбывать свои изделия, и от рынка, на ко-

тором он мог покупать нужное ему сырье, и превращал его в наемного рабочего, работающего у себя дома на капиталиста. В Германии такого рода домашняя капиталистическая промышленность распространялась главным образом в деревнях, и притом в мало плодородных местностях, особенно там, где крестьяне имели малые наделы и у них было много свободного от сельскохозяйственной работы времени. Скупщик-предприниматель предпочитал действовать в деревне, а не в городе по вполне понятным соображениям: в сельских местностях рабочие руки стоили дешевле; кроме того, здесь его деятельность не была ограничена цеховыми статутами.

Городская промышленность сокращалась и по общей массе вырабатываемых продуктов, и по числу занятых в ней производителей. Пять седьмых всего льняного производства было сосредоточено в деревне. В ряде округов (Минден-Разенсберг, Магдебург и др.) число сельских ткачей в несколько раз превышало число городских.

При господстве крепостного права в эксплуатации домашних ремесленников участвовал в союзе с купцом и помещик. Примером этого является силезская льняная промышленность. В Силезии особенно было распространено льняное производство. Оно было тесно связано с крепостным строем. Крестьяне были обязаны отдавать помещику в виде натурального оброка льняную пряжу. Помещик продавал эту пряжу через купцов ткачам, которые опять-таки по большей части были его крепостными крестьянами, и за право заниматься ткацким делом брал с них в свою пользу довольно большую пошлину. Выделанную ткань крестьяне за бесценок продавали купцам. Таким образом, крестьяне обирались здесь и помещиками, и купцами, вследствие чего нищета крестьян достигала ужасающих размеров. Но именно поэтому ткань стоила дешево, и льняная промышленность Германии до половины XVIII века снабжала своей продукцией остальные страны Европы, пока она не встретила конкуренции со стороны ирландской и шотландской промышленности с их более высокой техникой.

Ввиду бедности Германии капиталами купцы часто соединялись в компании для совместных операций. Так, в Нюрнбергском округе, где вырабатывалось тонкое полотно, в 1764 г. существовала компания в 80—90 предпринимателей, раздававшая сырье для обработки тысяче человек. Компания быстро развивалась, и уже через 20 лет корпорация предпринимателей включала в себя до 180 человек, которые раздавали сырье 24 тыс. работникам. При общем преобладании сельской промышленности скупщики-предприниматели, однако, иногда подчиняли себе и городских ремесленников. Так, в Нюрнберге скупщики подчинили себе часовщиков, в Золин-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 10

² Там же, т. 13, стр. 216

гене—оружейников и ножовщиков, в Зоненберге—изготовителей игрушек и т. п.

РАССЕЯННАЯ И ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННАЯ
МАНУФАКТУРА

К XVIII веку кое-где имело уже место распределение отдельных процессов между подчиненными скупщиками домашними производителями. Таким образом, домашнее производство теряло свой первоначальный характер простой кооперации, в него проникало разделение труда, и работа на скупщика превращалась в рассеянную мануфактуру (главным образом, в Саксонии и Силезии, Вюртемберге, Тюрингии, Вестфалии, Богемии и многих местностях Пруссии). Скупщиками-предпринимателями часто становились мастера, занятые изготовлением продукта в последней стадии его производства. Особенно характерен здесь пример красильщиков города Кальва (Вюртемберг). Пользуясь тем, что ткани только после их окраски допускались на ярмарки, красильщики сорганизовались в компанию скупщиков и захватили в свои руки исключительное право торговли наиболее распространенными сортами материи. С 1705 г. компания красильщиков стала обязывать всех кустарей, занимавшихся производством сукна в Вюртемберге, везти в Кальв свою продукцию. Там члены компании или принимали сукно по большей части за ничтожную плату, или, в случае недоброкачества изделия, накладывали на него штраф, который (по словам Трельча) рассматривался как знак позора. И только этим отвергнутым товаром мелкие производители могли торговать самостоятельно, причем, конечно, на него при таких условиях находилось не много покупателей. На практике это привело к тому, что все суконщики Вюртемберга подчинились кальвской компании скупщиков. В такое же подчинение себе поставили изготовители рукояток для ножей в Нюрнберге всех прочих ножовщиков, изготавливавших другие части ножей, а в Шварцвальде—оправщики в золото драгоценных камней других рабочих ювелирного дела и т. п.

Главными отраслями развивающейся капиталистической промышленности были текстильные и горно-металлургические производства. В Силезии было особенно развито производство льняных полотен и горная промышленность, в Саксонии—хлопчатобумажное и кружевное производство, а также добыча олова и меди, в Вюртемберге—производство шерстяных сукон, в Вестфалии—железоделательное производство, в Бранденбурге (особенно в Берлине)—шерстяное, шелковое, железоделательное и хлопчатобумажное производство (всего около 43 производств), в Богемии—суконное и металлургическое производство и т. д.

Наряду с децентрализованными мануфактурами в Германии возникали и мануфактуры централизованные. Два об-

стоятельства особенно содействовали их росту. Во-первых, иммиграция иностранных беженцев, спасавшихся от религиозных преследований в других странах (особенно иммиграция гугенотов из Франции после отмены Нантского эдикта 1685 г.). Беглецы, являвшиеся в Германию, приносили с собою то, чего больше всего ей недоставало,—капиталы и технические знания. До каких размеров доходила иммиграция из Франции, показывает хотя бы тот факт, что в Лионе уже в 1698 г. из 8 тыс. ткацких станков, на которых вырабатывался шелк, осталось только 1800. В Гессене-Касселе, Саксонии, Гамбурге, в Австрии и особенно в Бранденбургско-прусском государстве гугенотам предоставлялись беспощинный ввоз имущества, свобода от подчинения цеховым уставам, ссуды, при основании новых предприятий и т. п. Во-вторых, в Германии, как и в других государствах того времени, было много деклассированных людей, пополнявших собою число безработных, нищих, бродяг, часто попадавших в тюрьмы. По некоторым данным в немецких духовных княжествах на каждую тысячу человек приходилось до 260 нищих и бродяг. В Кальве при наличии 50 тыс. населения нищих насчитывалось от 12 до 20 тыс. Когда немецкие власти поняли выгоду крупного капиталистического производства, они попытались использовать этих деклассированных людей для работы на мануфактурах. Из их среды предпринимателям было предоставлено право брать почти в неограниченном количестве рабочих за ничтожную заработную плату. Бродяг и нищих силою заключали в работные дома (Zuchthäuser Werkhäuser) или просто тюрьмы, где они выполняли разные работы под надзором надзирателей и технически осведомленных лиц. Чаще всего им поручались наиболее простые прядильные работы, почему в некоторых местах эти работные дома получали название «прядильных домов» (Spinnhäuser). Иногда такие дома сдавались частным лицам на откуп или в аренду, предприниматели обращали эти дома в настоящие мануфактуры.

МЕРКАНТИЛИЗМ

Частная инициатива была все-таки в Германии того времени чрезвычайно слабой; недостаток капиталов давал себя знать на каждом шагу. Во многих местах, особенно в более крупных государствах (Австрии и Пруссии), государственная власть проводила меркантилистскую политику, субсидировала частных предпринимателей, предоставляла им привилегии, давала монопольные права, а часто и брала непосредственно в свои руки промышленные предприятия. Так, в Гессене в XVIII веке попытка создать частную мануфактуру потерпела крушение, и до конца XVIII и даже до начала XIX века рудники, металлургические заводы, зеркальная и прядильная мануфактуры в основном при-

надлежали государству. Но и государственные мануфактуры обычно оказывались нежизненными. Возникая при искусственной поддержке государства, при помощи привилегий, субсидий и монополий централизованные мануфактуры владели жалким существованием, не давали доходов, а очень многие из них вскоре после открытия принуждены были закрываться.

В общем, несмотря на некоторое оживление промышленности в XVIII веке, в Германии капиталистические формы производства слабо развивались. Ни в какой степени развитие германской промышленности не может быть сравниваемо с тем, что происходило в это время в Англии или во Франции, где закладывались прочные основы для перехода к машинной индустрии. Главными причинами промышленной отсталости Германии оставались раздробленность страны, ее оторванность от мировых рынков торговли, малое количество капиталов, сохранение цеховых статutow в городе и особенно крепостного права в деревне. Энгельс в письме к Марксу из Лондона от 15 декабря 1882 г. придает последнему обстоятельству особенное значение: «Между прочим,—пишет он,—всеобщее восстановление крепостного права являлось одной из причин, почему в Германии не могла развиваться промышленность в семнадцатом и восемнадцатом столетиях».¹

ЦЕХОВОЕ РЕМЕСЛО Что касается цехового ремесленного производства, то в XVIII веке оно переживало критическое время. С одной стороны, возникало много «вольных» ремесленников, не входивших в состав цехов и не подчинявшихся цеховым статутам (Höfen, Pfuscher и т. п.). С другой стороны, цехам приходилось выдерживать конкуренцию крупного мануфактурного производства, которое, как оно ни было слабо, во многих случаях оказывалось все-таки достаточно сильным для того, чтобы подорвать цеховое ремесло. В Баварии, например, за 30 лет, с конца XVII до начала XVIII века, число лиц, занятых в цеховом суконном производстве, упало с 1139 до 224 (считая и мастеров и подмастерьев). Остальные или попали в зависимость от скупщиков-предпринимателей, или же стали «вольными» ремесленниками. Суконное производство в наибольшей степени подвергалось влиянию купеческого капитала. В других отраслях производства, где роль суконщика-предпринимателя была меньше, цеховое ремесло сохранилось в большей степени. Но в нем шел характерный процесс, на который указал Энгельс в упомянутом письме к Марксу, а именно, происходило «**обратное** разделение труда у цехов, противоположное тому, что в

мануфактуре. вместо разделения труда **внутри** мастерской труд делился **между** цехами».¹ Иначе говоря, ремесленное цеховое производство не переходило на более высокий уровень. Мастерские не укрупнялись, а внутри них не возникало разделения труда с его более высокой техникой. А разделение труда между цехами вело к тому, что раздробившееся на ряд отдельных цехов ремесло тем легче попадало в зависимость от капиталистических элементов, нередко выделявшихся и среди тех же цеховых предприятий.

Характерно отношение властей того времени к цеховому ремеслу. XVIII век—это век решительной победы княжеского абсолютизма как над сословным представительством (ландагатами), так и над политической самостоятельностью дворянства, городов и городских организаций. Княжеская власть, оставаясь дворянской по своему классовому содержанию, могла, однако, обслуживать интересы того же дворянства уже с помощью своего собственного аппарата, ограничив роль всяких самоуправляющихся организаций. Вполне естественно поэтому, что князья стремились подчинить себе цеховые организации и как бы «огосударствить» цехи, установив свой контроль над их деятельностью. Поэтому в течение XVIII века, начиная с 30-х годов, в разных государствах Германии был издан ряд законов, касавшихся цехового ремесла (в Пруссии—между 1734 и 1736 гг. с некоторыми позднейшими дополнениями; в Австрии—между 1731 и 1775 гг.; в Вюртемберге—в 1758 г.; в Бадене—в 1760 г.). Сущность этих законов заключалась в том, что ограничивалась корпоративная замкнутость цехов и их автономия, облегчались занятия ремеслом вне цеха и цеховым мастерам открывалась возможность стать предпринимателями более широкого масштаба; для этого мастерам давалось право держать большее количество подмастерьев, устранялись некоторые препятствия для достижения звания мастера, уменьшался срок ученичества; одним словом, смягчались препятствия, которые цеховые уставы ставили для перехода к высшим капиталистическим формам промышленности. Но под этим законодательством не было достаточно солидной хозяйственной базы, ибо капиталистические элементы были еще настолько слабы, что власть, устранив ремесло, рисковала лишить население необходимых ему производителей, не поставив на их место никаких других. Поэтому ограничения, направленные против цехов, были не особенно решительны. По крайней мере, на практике они имели мало последствий для мелкого ремесла, которое в течение всего XVIII века обнаруживало очень большую живучесть. Даже Allgemeine Preussische Landrecht (Общее Земское Право) 1794 г. еще оставляло цехам многое

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 600.

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXIV, стр. 600.

из их прежних прав. Но если власть недостаточно решительно ограничивала привилегии цехов, то в одном отношении она проявила довольно значительную активность, а именно— в борьбе с движением подмастерьев и учеников. Немецкая буржуазная наука старается представить мероприятия государственной власти в Германии XVIII века по отношению к цеховым рабочим как направленные к защите условий труда. Это мнение не соответствует фактам. В столкновениях, которые происходили тогда между цеховыми мастерами, с одной стороны, и учениками и подмастерьями, с другой, и императорская и княжеская власти стояли на стороне мастеров. Императорским указом 1731 г. ученикам и подмастерьям были запрещены стачки, им предписывалось оказывать повиновение и послушание своим хозяевам. Запрещались вместе с тем всякие ассоциации ремесленников. Государственная власть здесь как бы выступала в роли наследницы ограничиваемых ею городских и цеховых властей, действуя подобно им в пользу цеховой верхушки.

ТОРГОВЛЯ

Сдвиги в области промышленности в Германии XVIII века, таким образом, были, но они являлись недостаточными для того, чтобы изменить весь строй германской промышленности, в которой в основном, как и прежде, преобладало ремесло. Были сдвиги и в области торговли. Внутренние таможи в XVIII веке несколько сократились в сравнении с XVII веком, обмен между городом и деревней, а также между отдельными областями Германии усилился. Главным центром внутренней торговли в XVIII веке был Лейпциг. Он стоял на перепутье наиболее оживленных торговых дорог того времени, соединявших наиболее развитые промышленные области и города Германии. Через него шли пути с северо-запада на юго-восток (от Вестфалии к Силезии), с северо-востока на юго-запад (от Данцига до Страсбурга) и с севера на юг (от Гамбурга до Вены); его ярмарки привлекали к себе многочисленных купцов. Как торговый центр он затмил такие города, как Эрфурт, Магдебург, Галле и Брауншвейг. За ним непосредственно следовали Франкфурт-на-Майне, славившийся, как и Лейпциг, своими ярмарками, и Бреславль как центр Силезии. С 80-х годов XVIII века с ним стал конкурировать в качестве центра торговли с востоком Берлин.

Еще большее значение в оживлении торговли имел Гамбург. В противоположность Лейпцигу, его роль основывалась не столько на внутренней, сколько на внешней торговле (благодаря близости к западным торговым государствам). На нем почти не отразилось погубное для остальной Германии перемещение торговых путей. Он поддерживал торговые связи с Англией, Францией и Нидерландами, а после упадка

Любека и Данцига превратился в главную гавань всей Германии и во второй морской порт (после Амстердама) всего европейского континента. Во второй половине XVIII века гавань Гамбурга посещало ежегодно до 2 тыс. судов. Он играл довольно большую (но меньшую, чем Лейпциг) роль и во внутренней торговле благодаря тому, что рекой Эльбой был связан с Богемией и придунайскими районами.

Несмотря на оживление торговли, она все-таки значительно уступала торговле западноевропейских государств. Наличие многочисленных таможенных застав, высокие пошлины на предметы продажи, узость внутреннего рынка, произвол со стороны местных властей, отсутствие единой системы мер, весов и монет, плохие дороги—все это продолжало задерживать развитие обмена внутри Германии и торговые сношения с другими странами.

II. ПРУССИЯ В XVIII в.

В условиях господствовавшего в Германии мелкодержавия, упадочного состояния городских центров и «всеобщего господства крепостного права» политическое влияние могли получить только государства с обширными территориями, в пределах которых могло возникнуть более или менее значительное население и у правительств которых могли образоваться и достаточные финансовые средства, и крупные военные силы. Такими были абсолютистско-дворянские монархии Восточной Германии—Австрия и Пруссия, куда и переместился в XVII и XVIII веках центр тяжести политической жизни Германии

ДВОРЯНСКАЯ ВОЕН- НО БЮРОКРАТИЧЕ- СКАЯ МОНАРХИЯ

• Бранденбургско-прусское государство после Тридцатилетней войны стало господствующим государством во всей Северной Германии. Оно выросло в крупную силу как военное государство, расширившееся за счет захваченных соседних, главным образом, славянских территорий. Завоевание территорий производилось силами военно-земледельческих элементов и в их пользу. В ранние периоды бранденбургской истории (до XVI века) захват славянских владений обеспечивал немецкое рыцарство землей, а закрепощение местного населения—рабочими руками. В более поздний период, когда дворянин из воина-рыцаря превратился в крупного землевладельца, ведущего барщинное хозяйство, в основу внешней политики бранденбургско-прусских государств наряду с продолжением системы захватов легло стремление создать для уже сформировавшегося крупного землевладения условия, которые облегчили бы дворянам ведение товарного хозяйства. Поэтому внешняя политика Бранденбургско-прусского государства была направлена на овладение выходом к северным морям, по которым шли дороги в потреблявшие хлеб страны, на уничтожение «чересполоси-

цы» внутри самих бранденбургско-прусских владений, а также на захват некоторых пограничных областей, обильных дешевыми рабочими руками, пустующими землями или естественными богатствами. В основе внутренней политики лежало стремление обеспечить землевладельцам наилучшие возможности для ограбления трудящихся классов и, прежде всего, крестьянства. Так было до Фридриха II эти же основы правительственной политики в главном сохранились при Фридрихе II с некоторыми, однако, вариациями, касавшимися не системы управления, а только тех средств, которые вели к более полному осуществлению этой системы.

Государственный строй Бранденбургско-прусского государства уже с конца XVII века принял вполне законченную форму дворянско-бюрократической монархии военного типа. При так называемом великом курфюрсте Фридрихе-Вильгельме I (1640—1688) было покончено с сопротивлением сословного представительства ландтагов и уничтожена политическая самостоятельность городов и дворянства. Государство уже обладало развитым бюрократическим аппаратом и имело в своих руках достаточно финансовых и военных средств для того, чтобы конституироваться, как говорил Маркс в «Немецкой идеологии», «в мнимую самостоятельную»¹ по отношению к обществу силу. На самом деле, по своей классовой природе оно оставалось типично дворянским. Но самому дворянству в это время было выгодно отказаться от своих политических прав и передать осуществление своих интересов в руки централизованной государственной власти. Без такой концентрации политических прав государственная власть не могла ни проводить политики захватов, ни держать крестьянство в крепостнической узде, ни подчинять своим интересам деятельность буржуазии. С крестьянством власть расправлялась методами открытого насилия, но с буржуазией, как она ни была слаба в XVIII веке, прусские короли были поставлены в необходимость считаться. Без более или менее развитой промышленности, без достаточного торгового оборота и без денег государственная власть не могла ни обеспечить своего собственного аппарата,—особенно армии, нуждавшейся в вооружении, обмундировании и провианте,—ни доставить для дворянства нужные ему товары и рынки сбыта. Поэтому-то абсолютная власть в Пруссии, высоко ценя «породу» дворянства, ценила также и деньги буржуазии и проводила некоторую политику покровительства по отношению к ней. Однако эта политика поддержки деятельности буржуазии (выражавшаяся по преимуществу в форме меркантилизма) в связи со слабостью и несамостоятельностью прусской буржуазии приняла в

¹ К Маркс и Ф Энгельс. Соч., т IV, стр. 175

Пруссии чрезвычайно бледный и чахлый характер. Поэтому прусский абсолютизм не сыграл в развитии хозяйства страны той прогрессивной роли, которую играл на своей ранней стадии абсолютизм Англии и Франции. Прусскому абсолютизму не удалось ни создать внутри государства широкого единого внутреннего рынка, ни поднять промышленность и торговлю на более или менее значительную высоту. Только в одной области он обнаружил очень большую энергию, именно—в области военных захватов, что и придавало тогдашнему прусскому государству его специфически военный, разбойничий характер.

Курфюрсты и короли, занимавшие бранденбургско-прусский престол до Фридриха II, сделали уже много для расширения своих владений. Захваты эти делались не столько путем завоеваний, сколько, как писал Маркс Энгельсу (2 декабря 1856 г.), путем мелких краж, подкупов, прямой купли, кляуз с наследствами.

ФРИДРИХ II

Продолжателем этой политики за-

хватов и обмана был Фридрих II (1740—1786), заслуживший от буржуазной историографии за свою удачную внешнюю политику, за сочувствие к просветительной философии XVIII века и за некоторые «социальные» реформы название «короля-философа» и титул «великого». Когда Фридрих II вступал на престол, многие передовые люди его времени возлагали на него большие надежды. Было известно, что в противоположность своему отцу—сухому, практическому и скупому Фридриху Вильгельму I он любит литературу, начитан и обладает художественным вкусом. К тому же у него был живой, веселый и общительный характер, способность к остроумной беседе и умение на лету схватывать знания и усваивать мысли собеседника. Поэтому очень многие ожидали встретить в нем мягкого и культурного правителя, более преданного умственным и художественным интересам, чем обычному в доме Гогенцоллернов увлечению военным делом. Все эти ожидания и надежды рассыпались, однако, в прах с первого же момента его вступления на престол; он оказался таким же практическим дельцом и милитаристом, как и его отец. Еще за несколько лет до вступления на престол он говорил своей сестре: «Весь мир удивится, что я совсем не тот, каким все меня представляют. Все воображают, что я буду швырять деньгами и что в Берлине деньги станут так же дешевы, как булжжник. Но этого не будет. Все мои помыслы направлены лишь на то, как бы увеличить мою армию; все же остальное останется, как и при отце». При этом он всегда и прежде всего думал о практической пользе: «Не говорите мне о величии души,—сказал он однажды одному английскому дипломату,—государь должен

иметь в виду только свои выгоды». В соответствии с этим для него на первом месте стояла армия и на втором—деньги. В литературе и философии он видел, главным образом, приятное развлечение и средство для приобретения популярности за границей. Просветительная философия при полном отсутствии революционных настроений среди немецкой буржуазии не была опасна для прусского абсолютизма, а декларативные заявления в ее духе только поддерживали престиж короля среди образованных людей и увеличивали блеск его двора. Характерно при этом, что, переписываясь с Вольтером, Д'Аламбером и другими французскими просветителями, будучи в дружбе даже с философом-материалистом Ламеттри, Фридрих в то же время был совершенно равнодушен ко всякого рода проявлениям немецкой культуры и просвещения, не замечал выраставших у него на родине талантов, вроде Лессинга и Канта, и не читал ничего на немецком языке. Несмотря на все свои «просветительные» увлечения, которые имели по существу только показательный характер, он всю свою жизнь оставался деспотом, крепостником и поклонником дворянства. Если среди представлявшихся ему кандидатов на офицерский чин находился недворянин, он собственноручно вычеркивал его. Как и его отец, Фридрих не выносил самостоятельно рассуждающих людей, был нетерпим к чужим мнениям, особенно в военном деле. «Когда солдат пускается в резонерство,—говорил он,—или не хочет делать, что ему велят, или лукавит, тогда ему следует всыпать фухтелей». По существу, несмотря на просветительный налет, он был типичным представителем той чисто гогенцоллерновской политики, которую Маркс характеризовал как «смесь деспотизма, бюрократии и феодализма».

ЗАХВАТ СИЛЕЗИИ

Фридрих начал свое царствование с нападения на Силезию, которая тогда входила в состав владений Габсбургского дома. Завоеванию Силезии прусские правители придавали огромное значение. От нее шли пути в соседние славянские территории—в Польшу и в Богемию. Лависс в «Очерках по истории Пруссии» правильно указывает, что если бы Силезия—«этот австрийский авангард в Нижней Германии, бравший во фланг Бранденбург и врезавшийся своим северным концом между Берлином и Познанью», не была захвачена Пруссией, то это «сделало бы невозможным всякое дальнейшее расширение прусской монархии по направлению к Востоку». С другой стороны, захватом Силезии, благодаря которому в руки Пруссии переходил весь Одер, Фридрих имел в виду отвлечь товары, которые до сих пор шли по Эльбе, протекавшей в значительной степени вне границ Пруссии, на Одер, который был в его глазах чисто прусской рекой. Этим он хотел парализовать торговое значение Гамбурга

и Лейпцига в пользу нового ярмарочного центра, который он имел в виду, правда безуспешно, создать в Бреславле (на Одере). Таким образом, уже в первых завоевательных планах Фридрихом II руководило не служение общегерманской национальной идее, как это утверждали немецкие историки, а прусский национализм, связанный со стремлением к разрушению старых общегерманских торговых центров и захвату чужих, в значительной степени негерманских, территорий (в самой Силезии славянское население еще было довольно многочисленным).

Приобретение Силезии чрезвычайно усилило Пруссию. Из второстепенного государства она выросла до положения великой державы. Ее территория увеличилась на треть, население возросло на 1200 тыс. человек (до вступления Фридриха на престол во всей Пруссии насчитывалось только 2500 тыс.).

Удержать захваченные территории оказалось, однако, нелегко. В 1756 г. против «прусского преступника» составила сильная коалиция из Австрии, Швеции, Саксонии, Франции и России. На стороне Пруссии из крупных держав была одна только Англия. Положение Пруссии было чрезвычайно тяжелое. Но Фридрих в этом отчаянном положении развил необычайную энергию. 29 августа 1756 г. он вторгся в Саксонию, разбил двинувшуюся ей на помощь австрийскую армию и принудил Саксонию к капитуляции, включив всю саксонскую армию в прусское войско. Но союзники двинули против Пруссии в общей сложности 430 тыс. человек, в то время как Пруссия располагала 152 тыс. полевых войск и 58 тыс. гарнизонных солдат. Русские вступили в Восточную Пруссию, шведы — в Померанию, французы разбили прусских союзников — англичан; сам Фридрих летом 1757 г. потерпел поражение в Богемии (у Колина). Хотя конец 1757 г. и 1758 г. были для Пруссии в общем удачны, но следующие годы принесли ей ряд новых поражений. Финансовые ресурсы Пруссии иссякли, пополнять войска становилось все труднее, хотя Фридрих и привлекал к военной службе даже пленных.

В начале августа 1759 г. Фридрих потерпел поражение от русских при Кунерсдорфе (в Бранденбурге); Саксония была потеряна. Россия и Австрия уже составляли планы раздела Пруссии. В октябре 1760 г. даже Берлин был занят на короткий срок русскими. В этом отчаянном положении Пруссию спасли раздоры между союзниками, особенно между русскими и австрийцами. Вследствие вступления на престол Петра III Россия в начале 1762 г. вышла из войны, а несколько позднее — Швеция, ведшая войну вообще без энтузиазма, и Франция, потерпевшая ряд неудач в колониальной войне в Англии. Австрия оказалась, таким образом, изолирован-

ной. 15 февраля 1763 г. она заключила в замке Губертсбурге мир с Пруссией, признав за ней ее права на Силезию.

Вторая Силезская (иначе Семилетняя) война еще больше укрепила внешнее положение Пруссии; она поставила ее внутри Германии на положение, равное с Австрией, и открыла ей широкие перспективы для будущих захватов.

ПРУССИЯ И
ГЕРМАНИЯ

Приобретение Силезии создавало условия, открывающие Пруссии дорогу на Восток. Уже на следу-

ющий год после окончания войны русская императрица Екатерина II учла военное значение Пруссии и решила воспользоваться ею в своих планах раздела Польши. В апреле 1764 г. она заключила с Фридрихом договор, по которому уже предreshался, как говорит Энгельс, будущий раздел Польши. А именно, согласно тайным статьям договора, Россия и Пруссия брали на себя обязательство «...охранять силою оружия польскую конституцию, это лучшее средство для разрушения Польши, от всяких попыток реформы».¹ Слабость Польши была одинаково ясна России и Пруссии. Получив предложение Фридриха о разделе Польши, Екатерина некоторое время колебалась, стремясь сохранить протекторат над Польшей в своих руках. Но затянувшаяся война с Турцией заставила ее стать более уступчивой. В 1772 г. был произведен первый раздел Польши, по которому Фридрих получил так называемую Западную Пруссию (за исключением Данцига и Торна), т. е. территорию, соединявшую бранденбургскую часть владений Фридриха с восточнопрусской частью.

Значение Пруссии, особенно внутри Германии, еще больше поднялось. Но и это время Пруссия не взялась за решение задачи воссоединения Германии, и Фридрих II не стал носителем общегерманской национальной идеи. Это особенно ярко сказалось во время войны за баварское наследство. В 1778 г. Австрия, воспользовавшись смертью бездетного баварского курфюрста Максимилиана-Иосифа, объявила свои притязания на часть баварских земель (главным образом, Нижнюю Баварию). Фридрих II этому решительно воспротивился, но до войны дело не дошло вследствие вмешательства России и Франции. Екатерина предложила мир (в Тешене в 1779 г.), по которому и Пруссия, и Австрия получили небольшие прирезки (Пруссия — Байрейг и Ансбах), но в основном баварские владения сохранились. При этом гарантию этого (Тешенского) и других мирных договоров, включая и Вестфальский мир 1648 г., брали на себя Россия и Франция. «Этим, — говорит Энгельс, — было закреплено бессилие Германии, и Германия была объявлена объектом бу-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 14.

душего раздела между Францией и Россией».¹ Россия благодаря Тешенскому миру заняла «...положение охранительницы германского беспорядка против всяких попыток реформы»,² подобно тому как она раньше заняла такое же положение по отношению к Польше. Фридрих II дал на это свое согласие, приложив, таким образом, и свою руку к дальнейшему существованию раздробленного положения Германии.

Пруссия при Фридрихе II вообще была уже достаточно сильна для того, чтобы ослабить Австрию, но еще недостаточно, чтобы взяться за воссоединение Германии. В 1785 г. Фридрих II сделал еще один шаг в сторону обессилиения Австрии: он добился образования «Союза князей», направленного против притязаний Австрии на южные немецкие княжества, но и это был шаг, ничего общего не имеющий с заботами о пробуждении в Германии национальной идеи.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ФРИДРИХА II

В буржуазной литературе, наряду с представлением о Фридрихе как о носителе общенациональной идеи, также распространено мнение о нем как о короле-демократе, поставившем своей целью служение интересам народа. Главной основой для этого мнения являются некоторые декларативные заявления самого Фридриха. Особенно часто цитировалась и цитируется его фраза «Король есть первый слуга своего государства». Но, как выяснил Мering, это заявление в понимании самого Фридриха означало «не ограничение, а, наоборот, расширение абсолютной власти». Этой фразой Фридрих хотел сказать, что он в своем лице желает соединить все функции власти—и командование армией, и руководство финансами, и высшее отправление правосудия. Не полагаться на министров, а все делать собственными силами—вот основной смысл сказанного. Апологеты Фридриха любили цитировать и другую его фразу: «Я хочу быть королем бедных». Но эта фраза имела чисто демагогическое значение, ибо в своей практической деятельности он был королем дворян и больше всего заботился о дворянских интересах,—даже больше, чем его отец Фридрих-Вильгельм I. Своему главному государственному учреждению—Генеральной директории он рекомендовал прежде всего поддерживать дворянство. «Раса дворян,—говорил он,—настолько хороша, что она должна быть почитаема и охраняема всеми возможными способами». Он называл дворян «добрыми ребятами» и следил за тем, чтобы бюргеры не приобретали рыцарских имений. «Я желаю видеть больше земли в руках дворян»,—

говорил он. За дворянами он сохранил все их патримониальные права над крестьянами. Для облегчения положения дворян он создал ряд дворянских банков, которые давали ссуды под небольшие проценты (по большей части 4³/₄ %). Им же он предоставил главные места в администрации и войске. Фридриху не приходилось бояться политической оппозиции со стороны дворян, так как ландтаги, в которых дворяне играли главную роль, потеряли свое значение еще при его предшественниках, и потому он мог дать полную волю своим дворянским симпатиям.

Нельзя придавать серьезного «ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ» значения также и высказываниям МАСКИРОВКА Фридриха в духе современной ему просветительной философии. Про-

светительная философия была для Фридриха лишь удобной маской, прикрывавшей грубо деспотические тенденции его правления. Он любил выставить себя защитником свободы мысли. «Печать не должна быть стеснена»,—говорил он. Но в действительности защита свободы печати была для него только орудием его внешней политики. Защищая свободу печати, он имел в виду только предоставление газетам права писать то, что могло не понравиться враждебным ему иностранным государствам. Что же касается до вопросов внутренней политики, то здесь от начала до конца его жизни не дозволялось писать ничего «без разрешения свыше». В отдельных указах (например, в цензурном уставе 1749 г.) особенно подчеркивался «вред различных соблазнительных книг и сочинений, колеблющих основы религии и нравственности». В письме к Д'Аламберу от 7 апреля 1772 г. Фридрих проводил мысль, что следует бороться с теми книгами, которые «угрожают всеобщей безопасности и общественному благу». Лессинг хорошо знал цену фридриховой свободы печати, когда он в 1765 г. писал Глейму: «Если бы кто потребовал возвысить свой голос против разорения и деспотизма, как осмеливаются делать это теперь даже во Франции и в Дании, то он очень скоро узнал бы на опыте, какая страна в Европе теперь самая рабская».

Не в большей степени, чем свобода печати, получили осуществление и другие «просветительные» идеи Фридриха. При нем был составлен первоначальный проект «Общего земского уложения». Во введении к нему провозглашалась независимость судебной власти, запрещались всякие виды чрезвычайного суда, указывалось, что законы и указы могут ограничивать личную свободу и права граждан лишь в той мере, в какой этого требует общий интерес. Но эти заявления были только ни к чему не обязывающими декларациями, и в «Общем земском уложении» они не вошли. В своей практической деятельности Фридрих особенно большое внимание

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 15.

² Там же.

обращал на судебное дело; «дух просвещения» здесь нашел свое осуществление главным образом в отмене пытки, в запрещении продажи и покупки судебных (как и других) должностей, в ускорении судопроизводства и в некотором смягчении наказаний за преступления против семейной нравственности. Но суд по-прежнему оставался подчиненным администрации, и сам Фридрих часто вмешивался в судебные приговоры, далеко не всегда при этом в пользу правых: приговоры продолжали оставаться жестокими, особенно когда затрагивались интересы государства и военного дела, прибегали даже к пыткам и к побоям. Кроме того, несмотря на все «просветительные» идеи Фридриха, в стране царствовал режим грубого самовластия, оставались нетронутыми крепостное право, основные привилегии дворянства, его господство в войске и администрации.

Более верным своим декларациям Фридрих был только в одной области—в области религиозной терпимости. «В моих владениях каждый может спастись на свой манер»,—говорил он. Веротерпимость была для него, во-первых, орудием против католических Австрии и Франции, в борьбе с которыми он хотел выставить себя защитником свободы совести; во-вторых, средством для привлечения иноверных колонистов в его бедную населением страну, а иноземных солдат—в армию. Но даже и веротерпимость не доводилась Фридрихом до конца, так как не применялась к евреям, которые подвергались и при нем разного рода ограничениям. У еврейского писателя того времени Моисея Мендельсона, вырвались горькие слова: «... в стране, где господствует любвеобильная терпимость... и изыскиваются средства для увеличения населения государства,—только нас одних ограничивают, чтобы мы не множились; принимают всевозможные меры, чтобы сделать нас бесполезными гражданами, а потом нас же упрекают, что мы мало приносим пользы».

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЛИТИКА

Военно-дворянский характер прусской политики особенно ярко выразился в отношении Фридриха II к крестьянству. Но расчетливый и предприимчивый король столкнулся в своей дворянской аграрной политике с одним чрезвычайно существенным препятствием. С земель, принадлежащих к господскому хозяйству, налоги фактически не платились или платились в ничтожных размерах. Поэтому, если помещик отбирал земельный участок у крестьян, включая его в свое хозяйство, доходы казны сокращались. С другой стороны, чем больше разорялись и истощались крестьяне, тем труднее было набирать из их среды сильных и крепких солдат. Таким образом, прабег крестьянских земель помещиками угрожал опасностью и государственными финансам, и безопасности войск. Фридрих II, ценивший

армию и деньги выше всех других средств управления, не мог оставаться равнодушным к этой опасности. Еще Фридрих-Вильгельм I в последний год своего царствования (1739) запретил сгонять крестьян с земли без замены согнанного другим, и Фридрих II эту политику «охраны крестьян» (Bauernschutz) поддерживал. Она не обеспечивала интересов каждого отдельного крестьянина, потому что за помещиком сохранялось право под тем или иным предлогом согнать крестьянина с земли, найдя ему заместителя. Недостатка же в таких заместителях быть не могло, потому что в число обязанностей зависимых крестьян входила и обязанность принимать вакантные наделы. Таким образом, «охрана крестьян» в лучшем случае создавала только коллективную гарантию по отношению ко всем крестьянским землям, заключающуюся в том, что общее количество находящейся в крестьянском пользовании и, следовательно, подлежащей обложению податями земли не уменьшилось. Однако и в такой форме указы об «охране крестьян» не соблюдались—«...они так и оставались, на бумаге,—говорит об этих указах Энгельс,—дворянство очень мало обращало на них внимания, и сгон крестьян продолжался».¹ Таким образом, если король и вел некоторую борьбу с дворянством, то только с одной целью: чтобы доходы от крестьянской эксплуатации шли не только в пользу дворянства, но и в пользу государственной казны. Для понижения бремени крестьянских повинностей «королем, философом» не было сделано ничего. Если же крестьяне начинали волноваться, то по отношению к ним Фридрих никаких других мер, кроме репрессий, придумать не мог. Старостам он рекомендовал «зорко следить за появлением каких-либо посторонних негодяев, если они вздумают устраивать сходки и вбивать в голову простому люду всяческие мнения. Их следует преследовать по пятам,—как только заметят что-нибудь неладное, то тот час же за шиворот и под суд». Уже из одного этого видно, насколько обосновано мнение о Фридрихе II, как о «короле бедных».

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Как дворянский король, Фридрих не мог проводить и решительной политики покровительства буржуазным элементам страны. По своим экономическим взглядам он был, как и другие европейские монархи, жившие в период разложения феодального строя,—меркантилистом. Его основным экономическим принципом было доставить государству как можно больше денег. Средства для достижения этих целей король, как и другие меркантилисты, видел в поддержании выгодного торгового баланса путем борьбы с ввозом иностранных товаров и путем покровительства вывоза,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 244.

в развитии местной промышленности, в увеличении народонаселения и территориальных размеров государства. Но на пути к осуществлению этого стояли его дворянские симпатии, непомерные расходы на военные нужды и деспотический режим, господствовавший в Пруссии его времени. Поэтому прусская форма меркантилизма оказалась гораздо более чахлой, чем французская и английская. Ничего подобного тому оживлению промышленности и буржуазной деятельности вообще, которое тогда имело место в Англии и Франции, мы в Пруссии этого времени не находим.

Для устранения иностранной конкуренции прусской промышленности Фридрих облагал иностранные фабрикаты очень высокими пошлинами. После 1766 г. им были совершенно запрещены к ввозу 490 самых разнообразных предметов. Вместе с тем он запретил вывоз из Пруссии туземного сырья и поощрял ввоз его из-за границы. Но для широкого развития промышленности в стране не хватало ни капиталов, ни технических знаний, ни условий для свободной деятельности. Недостаток частных капиталов приходилось заменять усиленными казенными субсидиями, предоставляемыми частным лицам, или же организацией казенной промышленности. На это требовались деньги, которые король при его военных симпатиях давал неохотно. По его собственным вычислениям государственные доходы Пруссии составляли ежегодно 21 700 тыс. талеров. Из них на содержание войска ежегодно шло около 13 млн., да еще ежегодно же откладывалось по 2 млн. в военный фонд. К этим обычным военным расходам надо еще прибавить чрезвычайные—на сооружение крепостей, на артиллерию, на субсидии союзникам и на другие расходы военного времени (так, Баварская война за престолонаследие стоила Пруссии 29 млн. талеров). 3 млн. талеров тратилось ежегодно на управление и двор. Помимо этого, король не скупился бросать подачки дворянам. Так, после Семилетней войны король пожаловал дворянам Новой Марки и Померании свыше 2,5 млн. талеров на оплату их долгов и на некоторые земельные мелиорации. Поэтому денег на поощрение промышленности оставалось немного, и субсидии в ее пользу в общем были невелики, хотя касались очень многочисленных предприятий. В число поддерживаемых правительством предприятий входили льняные, суконные, шелковые, металлургические, кожевенные, чулочные, ниточные, игольные, шляпные, маслосточные, табачные, крахмальные и т. п. На излюбленное королем шелковое производство за все время его царствования было истрачено, по вычислениям Шмоллера, около 2 млн. талеров, т. е. меньше, чем на субсидии дворянам Новой Марки и Померании. По остальным же отраслям промышленности финансовая помощь была еще

меньше. Если король давал мануфактуристам субсидии без возврата, то размер их обычно колебался от 1 тыс. до 24 тыс. талеров. Беспроцентные ссуды очень редко поднимались свыше 35 тыс. талеров за год.

Часто король передавал казне те или иные отрасли промышленности. Так было централизованно горное дело и металлургическая промышленность (в Берлине, Брауншвейге, Кенитсберге и других местах). В Берлине король купил фарфоровую фабрику за 225 тыс. талеров.

Искусственно насаждаемая промышленность не имела под собой твердой почвы. Часть созданных таким образом предприятий погибла уже при жизни Фридриха, другие—после его смерти. Некоторые из пользовавшихся особым доверием короля лиц (например, мануфактурист Гоцковский) обанкротились. Ряд предприятий прозябал, не принося почти никакого дохода. Нередко королю давали неверные сведения об их доходности. Только немногие отрасли промышленности закрепились и развились (например, полотняное производство в Силезии, мануфактура платков в Марке). В общем же промышленность и при Фридрихе, и после его смерти стояла на невысоком уровне.

Нужно заметить, что и сам Фридрих вследствие применяемых им полицейских приемов и вмешательства в хозяйственную жизнь часто вредил собственному делу. В начале царствования он выступил в качестве врага машинной промышленности на том основании, что машины, по его мнению, отстраняют людей от производства и мешают росту населения. Он предпочитал видеть дороги в плохом состоянии, чтобы задержать проход по ним неприятельских войск. Покровительствуемые им мануфактуры он опутал настолько мелочной системой опеки и надзора, что подавлял всякую предприимчивость и инициативу и в промышленниках, и в рабочих. В большинстве предприятий он оставил и даже усилил прежнюю крепостническую организацию труда, установив суровые наказания—вплоть до смертной казни—за неисправную работу.

В общем в основе всей хозяйственной деятельности прусского правительства лежал резко выраженный фискальный и казенный интерес: его главной заботой было дать государству как можно больше денег и обеспечить аппарат управления, армию, чиновничество и двор необходимыми для них предметами. Король не прочь был поговорить о народном благе, но забота об обогащении государственной казны и об обеспечении армии всем нужным решительно превалировала в его действиях над заботой о развитии народного хозяйства.

КОЛОНИЗАТОРСКАЯ ПОЛИТИКА

Тот же фискальный и казенный интерес лежал и в основе забот правительства об увеличении народонаселения. Рост населения означал увеличение количества плательщиков прямых податей, а кроме того, он означал возможность набрать и лишних солдат для армии. Об увеличении народонаселения Фридрих заботился до чрезвычайности. Его захваты увеличили народонаселение приблизительно в два раза. При этом он заботился не только о подъеме общей цифры населения, но и об увеличении его плотности. Поэтому он старался всеми мерами колонизовать свою страну, продолжая и здесь, только с гораздо большей энергией политику предшественников. По словам Лависса, колонизация для Фридриха была «такой же важной отраслью администрации, как сбор податей или набор ополчения». В общем в год смерти Фридриха на колонистов приходилось от 15 до 20% всех жителей страны. Привлечение населения сопровождалось осушением болот и оздоровлением сырых, нездоровых мест. И здесь Фридрих, идя по следам своих предшественников, сделал гораздо больше, чем они. В незаселенных раньше местах появились новые деревни, в старых деревнях появились новые дома.

Но и это покровительство росту населения приносило больше всего выгоды дворянским элементам страны, давая им возможность с помощью труда колонистов обработать новые земельные территории. В числе колонистов было много деклассированных людей («всякого рода сброда», — как характеризует их Шлоссер), которые в некоторых местах «своей бедностью, нищенством, грабежами и убийствами сделались предметом ужаса для своих старых соседей». В лице этих колонистов помещики находили дешевых батраков; но хозяйственных людей, из которых могли выйти хорошие ремесленники и исправные плательщики государственных налогов, среди них было не так много, как этого хотел Фридрих. Основной причиной этого было опять-таки дворянское и фискальное направление политики Фридриха. Иностранцам, привлекаемым к колонизации, было известно, в каком положении находится крестьянство Пруссии, в каких условиях живут ее ремесленники и какой налоговый гнет падает на ее население; потому промышленно деятельные и хозяйственно способные элементы избегали переселяться в Пруссию.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Податное бремя в Прусском государстве было необычайным. По расходам на армию Пруссия занимала первое место в Европе, между тем как ее население только к концу царствования Фридриха II достигло 5 млн. человек. При таких условиях обойтись без усиления податей Фридрих не мог. При нем сохранилась старая система обло-

жения, при которой деревня платила прямой налог, так называемую контрибуцию, а город — косвенный налог на предметы торговли — акциз. При этом продавать можно было только в городе; всякая торговля в деревне запрещалась, и крестьянин, для того чтобы что-нибудь купить, должен был ехать в город. Фактически это далеко не всегда соблюдалось, и ремесленные продукты контрабандой продавались и в деревне. Этот барьер между городом и деревней Фридрих оставил в силе и даже распространил его на Западную Пруссию. Он оставил и фактическую свободу дворянства от обложения. Поэтому-то вся тяжесть налогов при нем продолжала падать на крестьян и на городское население. Вопреки своему заявлению, что при наложении акциза он будет «адвокатом рабочих и солдат», Фридрих увеличил акциз как раз на предметы первой необходимости. В 1774 г. в разговоре с одним чиновником он назвал освобождение от налогов предметов первой необходимости «ошибочным и глубоко опасным финансовым принципом» на том основании, что «доходы государства могут приобрести гарантию своей прочности лишь в главных потребностях людей».

При всем этом с истощенного населения было нелегко высасывать нужные королю деньги. Фридрих особенно верил в фискальные способности французских чиновников. Во главе финансового ведомства он поставил пятерых французов, французами же заполнил все финансовые учреждения Пруссии. Они действительно ухитрились тянуть с населения много, но в казну отдавали далеко не все собранное, и сам король при всех своих французских симпатиях принужден был назвать их в конце своего царствования «сплошным сбродом жуликов».

Денег не хватало, и для покрытия расходов королю пришлось обращаться к так называемым регалиям. Право регалий состояло в том, что государство или брало исключительно в свои руки некоторые отрасли промышленности и продажу некоторых товаров, или же в других отношениях ограничивало свободу частной хозяйственной деятельности. Особенно стеснительны были государственные монополии в области торговли. Здесь королевскими регалиями было объявлено право продавать соль, кофе, табак и другие предметы широкого потребления. При этом на подданных возлагалось обязательство покупать эти предметы в определенных, довольно высоких размерах. Каждое лицо должно было набирать по 15 1/2 фунтов соли на себя, по 7 3/4 на корову, по столько же на каждые десять овец (если они имелись). Кофе запрещалось жарить тем, кто покупал его менее 20 фунтов. Всюду посылались сыщики («вынюхиватели кофе»), которые заходили в частные кухни и дома и смотрели, чтобы предметы государственной торговли покупались в должном разме-

ре и были надлежащим образом обложены. Таким образом, пишет Шлоссер, «никто не был спокоен в своем собственном доме, каждый должен был быть готов ежечасно и о каждом предмете, потребляемом в его хозяйстве, доказать, если бы это потребовали, что он обложен налогом».

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕСПОТИЗМ

К характеристике Пруссии времени Фридриха II как дворянского и военного государства надо прибавить еще одну черту: режим мелочного и придирчивого вмешательства государственной власти во все области политической, хозяйственной и даже частной жизни. В политической области время Фридриха II было временем крайней централизации государственного аппарата. Все функции местного самоуправления находились в руках назначенных правительством чиновников. Но король не доверял и своим чиновникам. Он все, или почти все хотел решать в центре, по возможности даже единолично. Самоуверенность короля, его презрительное отношение к людям—все это приводило к крайнему деспотизму. В особенности чувствовалась централизаторско-деспотическая власть Фридриха в области хозяйственного управления, что было связано с принятой королем системой меркантилизма. Король решал, какие фабрики надо основать, устанавливал число рабочих на них и количество подлежащих выработке товаров, вмешивался во все детали производства. Он определял деревни, подлежащие расширению путем колонизации, и число жителей, которое надо в них привлечь. Он посылал своих драгун наблюдать за культурой яблочных плантаций, разведению которых в Пруссии придавал большое значение. Он расширил права Генеральной дирекции—высшего органа управления, но не доверял и своим собственным министрам. Поэтому он установил над ними постоянный надзор и сыск, используя с этой целью низших служащих королевской канцелярии.

При всем своем недоверии к хозяйственникам и чиновникам Фридрих обнаруживал полное доверие к административным способностям дворянства. Дворянин при нем, как и до него, оставался полным хозяином в своем поместье. Даже ландраты—агенты центральной власти в провинции—начались из лиц, намеченных окружными собраниями дворян, и не вступали ни в какие отношения с крестьянами, представляя их произвольной власти помещика. Поэтому можно сказать, что подчиненная помещику деревня находилась вне системы централизации, характерной для тогдашнего прусского управления. Сфера влияния центральной власти кончилась ландратом и глубже не шла. Отсюда возникал двойственный характер управления Пруссией, смущавший буржуазных историков. Наверху—по отношению к бюргерству,

войску, чиновничеству, даже и к политическим правам самих дворян—господствовала вся строгость монархической централизации, а внизу, в деревнях, вся власть принадлежала поземельному дворянству. Но абсолютная власть всемогущего монарха вполне уживалась с почти независимой в своих внутренних делах патримониальной властью помещика-собственника. По существу и там, и здесь, и вверху, и внизу господствовал безудержный произвол, только вверху—под маской просвещения, а внизу—в открытой средневековой форме.

III. КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ В XVIII в.

ФИЛОСОФИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ XVIII ВЕКА

Несмотря на замедленное экономическое развитие Германии в XVIII веке, в ней уже образовалась довольно значительная буржуазия, передовые слои которой были на-

строены оппозиционно по отношению к господствовавшему в стране феодально-абсолютистскому строю. Этот строй уже в XVIII в. задерживал развитие производительных сил в Германии, мешал развитию промышленности, сельского хозяйства и культуры в ней. Создавалось положение, при котором уже не было соответствия между господствовавшими в стране производственными отношениями и характером производительных сил.

Экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил крайне медленно пробивал себе дорогу в Германии XVIII века. Он встречал большое сопротивление со стороны таких реакционных сил общества, какими были тогда феодалы и духовенство. Силы, которая могла бы преодолеть это сопротивление в тогдашней Германии, не нашлось. Рабочий класс отсутствовал, крестьянство было раздроблено и в лучшем случае было способно только на стихийные, неорганизованные и лишенные какого-либо руководства выступления. Что касается буржуазии, то она была слишком слаба экономически для того, чтобы играть в Германии XVIII в. решающую политическую, тем более,—революционную роль. По степени общественного влияния и экономического значения ее нельзя сравнивать ни с французской буржуазией, которая «...благодаря колоссальнейшей революции, какую только знает история, достигла господства и завоевала европейский континент...», ни с английской, которая «революционизировала промышленность и подчинила себе Индию политически, а

весь остальной мир—коммерчески...».¹ Немецкие бюргеры в то время не сознавали себя ни членами одного и того же класса, имеющего свои общественно-экономические задачи в истории, ни даже гражданами одного и того же государства. Они были разбиты на множество мелких групп и подгруппок, разделенных между отдельными мелкими немецкими государствами и заинтересованных только в своих местных делах. Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» говорят о бессилии, придавленности и убожестве «...немецких бюргеров, мелочные интересы которых никогда не были способны развиться до общих национальных интересов класса и которые поэтому постоянно эксплуатировались буржуазией всех остальных наций».² Лучшие умы Германии горько ощущали эту раздробленность. Гердер с горечью восклицал: «Да, к сожалению, действительно родина наша не имеет общего глосса, не имеет общего центра, где все могли бы говорить для всех. Все в ней раздроблено; эта разобщенность поддерживается многими факторами: различием в религиозных верованиях, наречиях, провинциальными особенностями, существованием многих правительств, разнообразием обычаев и нравов. Кажется, действительно единственным местом, где может создаваться общественное мнение, остается кладбище». Такая раздробленность буржуазии парализовала ее общественную энергию, делала ее совершенно неспособной к революционным действиям. «Чтобы освободить личность,—говорит Жорес,—Германии, так же как и Франции, нужна была революция, но эта революция могла явиться лишь в результате могучего согласованного движения; а такое движение предполагало наличие могущественной и единой национальной жизни».

В Германии XVIII в. не было даже такого крупного города, который мог бы стать культурным центром для всей страны, каким для Франции был Париж, или для Англии—Лондон. Таким центром менее всего мог быть тогда Берлин, который являлся средоточием прусской военщины и фридриховского всеподавляющего деспотизма. В нем не могло создаться благоприятных условий для развития просвещения уже по одному тому, что свобода мысли здесь подавлялась решительнее, чем в других местах Германии. «Я содрогаюсь всем моим телом, когда вспоминаю о прусском деспотизме, об этом биче народов»,—писал Винкельман.

Самым значительным культурным центром Германии в XVIII в. был саксонский город Лейпциг. Саксония, страна с более развитой промышленностью, была передовой страной Германии и в культурном отношении. Ее школы были лучши-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, стр. 174.

² Там же.

ми школами во всей Германии, и из них вышли многие выдающиеся люди: Лейбниц, Пуффендорф, Томазий, Геллерт, Клопшток и Лессинг. Они были уроженцами Саксонии и получили образование в ее школах. Про Лейпциг Меринг с полным правом говорил, что он «был тогда не только наилучшим, но и единственным городом, где отпрыск буржуазного класса мог глотнуть немного воздуха жизни».

Но и в Лейпциге свило себе гнездо закоснелое, застывшее в своих формах лютеранство. Оттуда от преследований лютеранских богословов должен был бежать в Галле Томазий, там не мог развернуться во всей своей широте великий талант Лессинга.

Другие города Германии возвышались в качестве культурных центров только на короткие сроки и большей частью по случайным причинам. Так, одно время довольно большое культурное значение приобрели университеты: в Галле, где жил знаменитый философ Вольф в Геттингене; где работали историки Шлецер и Геерен; в Кенигсберге, где провел свою жизнь Кант. В самом конце XVIII в. в качестве нового центра культуры возвышается небольшой Веймар в связи с переселением туда Шиллера и Гете. Культурное возвышение в этих городах было временным и связано с пребыванием в них некоторых выдающихся или гениальных лиц.

Таким образом, политической и экономической раздробленности Германии соответствовало и раздробление ее культурных сил, а это действовало понижающим образом и на самое содержание культуры. Ранняя бюргерская культура начала XVIII в. была оторвана от жизни, далека от общественных интересов современности и несамостоятельна.

НЕМЕЦКОЕ БУРЖУАЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Во второй половине XVIII в. (а отчасти и раньше) в среду немецкой буржуазии стали проникать новые веяния западных, более развитых культур. Влияние это было иным, чем раньше. Из Франции шло теперь уже влияние не героическо-придворной поэзии Корнеля и Расина, а рационалистического просвещения и даже материалистической философии; из Англии — скептической философии Юма, сенсуализма Локка и поининому, чем прежде воспринимаемой поэзии Мильтона и Шекспира; из Голландии — Спинозы.

Однако в условиях германской действительности это новое направление — буржуазное просвещение — приняло крайне умеренный характер. Оно было направлено главным образом на защиту индивидуальной свободы, по преимуществу — свободы мысли и совести; оно стремилось освободить личную деятельность от подчинения внешнему авторитету, а светскую поэзию — от богословских преследований. Общественных порядков оно касалось постольку, поскольку они стесняли сво-

боду человеческой деятельности в ее частной, по преимуществу духовной, сфере. Оно приняло поэтому отвлеченный, умозрительный, индивидуалистический характер. Его наиболее характерной чертой было исключительное внимание к практике и переживаниям отдельной личности, рассматриваемой вне всякой связи с обществом. Даже рационализм в Германии оказался крайне умеренным. Во Франции он был направлен против сословных привилегий дворянства и духовенства, против деспотизма государственной власти, поповского мракобесия, отчасти даже против самой религии. Германский же рационализм имел по преимуществу не деятельный созерцательный характер. Разум был объявлен главным фактором, но за ним признавалась только сила критики, а не сила действия. С высоты разумных принципов допускалось только осуждать феодально-абсолютистский строй, но ни в коем случае не призывать к его уничтожению.

Особенно характерна в этом отношении деятельность главы немецких просветителей в первую

половину XVIII в. профессора Христиана Вольфа в Галле и Марбурге (1679—1754). Вполне в духе своего времени Вольф стремился все обосновывать и объяснять, исходя из принципов разума. «Разум учит нас тому, что нам делать, и чего не делать т. е. разум есть преподаватель закона природы», — говорил он. Но и он признавал, что существуют некоторые «религиозные истины», до которых никогда не может дотумасовать человеческий разум, хотя они и не противоречат разуму. Он оправдывал крепостное право и в отдельных случаях находил даже возможным допускать пытки. Высшим типом государственного правления для него был просвещенный абсолютизм, а идеалом правителя — Фридрих II.

КРИСТОФ-ФРИДРИХ НИКОЛАИ

Недалеко от Вольфа ушел и самый популярный из немецких просветителей второй половины XVIII в. — Николай (1733—1811). Он был настолько влиятелен, что в конце XVIII в. поборников немецкого просвещения звали «николаитами». Он развил в Германии чрезвычайно широкую деятельность и был одновременно писателем, издателем и книгопродавцом. Ему принадлежит заслуга издания самого значительного коллективного произведения немецкого Просвещения — так называемой «Всеобщей немецкой библиотеки» (Allgemeine Deutsche Bibliothek), которая сыграла в истории немецкой культуры, хотя в более ограниченных размерах и с меньшим блеском, но в основном ту же роль, что и французская «Энциклопедия» Дидро и Д'Аламбера. Главной задачей этой «Библиотеки» была борьба против протестантской ортодоксии. Сам Николай высоко

ценил статьи в «Библиотеке», направленные против ортодоксов. «Они произвели,—писал он,—в немецких умах такую замечательную революцию, что ей не следует дать заглухнуть. Они во многих головах посеяли дух сомнения и тем оживили дух исследования». Но Николай преувеличивал революционное значение своей деятельности, которая сводилась в сущности только к тому, что он хотел «подлечить» лютеранское ортодоксальное богословие устранением из него явных бессмыслиц. Как и у Вольфа, его борьба против церковной ортодоксии имела характер полузащиты ее, поскольку он стремился только наложить заплату разума на откровения религии. К тому же Николай не обладал большим литературным талантом, и его сочинения были проникнуты сухой, скучной рассудочностью, которая в общем, однако, нравилась тогдашним аккуратным бюргерам. Он не понял ни Шиллера, ни Гете и революционный период их деятельности, когда они примыкали к «бурным гениям». Лессинг, одно время друживший с Николаем, в конце концов отошел от его полупросветительства, и в последние два десятилетия XVIII в. влияние Николая на германскую общественность прекратилось.

МОИСЕЙ МЕНДЕЛЬСОН

Более талантливым был друг Николай и сотрудник его изданий Моисей Мендельсон (1729—1786). Как еврей, он испытал на себе в большей степени, чем другие представители бюргерского либерализма, гнет феодально-абсолютистских порядков, и с большей страстностью, чем другие просветители, защищая идею веротерпимости, недостаток которой он лично чувствовал. Идея деизма—бог, бессмертные души и свобода воли—оставались и для него непререкаемыми истинами, но ему как еврею, хотя и верующему, были яснее недостатки христианства, даже в его «очищенной» деизмом форме. Он правильно указывал, что в основе даже и деистического христианства лежит «вера в невероятное». Поэтому-то идея естественного хода природного и человеческого развития нашла себе в нем более яркого и притом более талантливого защитника, чем в лице Вольфа и Николая.

ГЕРМАН-САМУИЛ РЕЙМАРУС

Наиболее радикальным представителем рационалистического деизма в XVIII в. был гамбургский писатель Реймарус (1694—1768). Он написал много сочинений, направленных против христианства, но наиболее систематическое изложение своих взглядов он дал в «*Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen verehrer Gottes*». В этом сочинении он заявляет, что откровение представляет собой «достойную осуждения систему ошибок», что оно неверно не только в частностях, но и в основах, что оно по-

строено на неправильных принципах. Священное писание Реймарус объявляет ужасающей фальсификацией, предназначенной к обману народа и к отклонению его от разумных истин. Если справедливо утверждение писания, что бог с самого начала руководил человеческой историей, то почему же он допустил существование разных религий, в том числе и таких, принадлежность к которым (согласно с писанием) обрекает людей на гибель? Выходит, что бог хотел допущением разных религий причинить людям зло «без намерения сделать их лучшими». В Ветхом завете богу приписываются самые низменные человеческие свойства и самые грубые ошибки. Вместо того, чтобы возлюбить все человечество, он почему-то возлюбил только один народ и сделал его избранным, хотя его лучшие представители, особо любимые богом Авраам, Иаков, Моисей и Давид, «часто уклонялись от правил добродетели». В Новом завете Реймарус находит такие же несообразности. Почему бог, покаравший людей за грех Адама, к которому они не причастны, мог спасти их заслугой Христа, т. е. наградить их за то, чего они сами не делали? Воскресение Христа Реймарус считает выдумкой. Если Христос воскрес, то зачем же он скрывался от людей и являлся только в особо исключительных случаях и только некоторым из своих учеников? Выходит, что он намеренно хотел оставить род человеческий в заблуждении.

Таким образом, Реймарус в своей критике священного писания провозглашает принцип: «разум против откровения» (а не «разум в согласии с откровением», как у Вольфа и Николая). Но и у Реймаруса нет борьбы с самой религией. При всей остроте его критики, направленной против библии—Ветхого и Нового заветов, он стоит еще на деистических позициях и признает, что существует какая-то истинная, естественная религия, согласная с разумом, поднимающаяся над несообразностями священного писания и заключающая в себе истины, одинаковые для всех времен и для всех народов. Такими истинами он считал существование бога, бессмертие души и свободу воли. На него большое влияние оказали сочинения французских (особенно Вольтера) и английских (Локка и Юма) писателей, но он не дошел до материализма Спинозы или французских философов. Не дошел он и до исторического объяснения библии и смотрел на нее только как на продукт обмана священников.

Но и в таком виде сочинения Реймаруса были слишком радикальны для того времени. Издать основное его сочинение при его жизни оказалось невозможным. Лессинг уже после смерти Реймаруса опубликовал только отрывки из него (так называемые «Вольфенбюттельские фрагменты», 1774—1778), и это вызвало взрыв негодования тогдашних

благочестивых бюргеров. Целиком книга Реймаруса была опубликована только в 1862 г. Штраусом

ГОТГОЛЬФ-ЭФРАИМ
ЛЕССИНГ

На еще более высокую идеологическую ступень поднял немецкое «Просвещение» знаменитый поэт драматург, публицист и философ Лессинг (1729—1781). Это был самый передовой для своего времени боец за буржуазно-революционные идеалы, за свободу науки, против церковного мракобесия, феодальных предрассудков и прусского деспотизма.

Лессинг родился в наиболее передовой области тогдашней Германии—в Саксонии, учился в лучшем университете своего времени—Лейпцигском, жил в других крупных центрах Германии—Берлине, Бреславле и Гамбурге. По темпераменту и образу действий Лессинг был подлинным революционером. Благодаря ему немецкое Просвещение превратилось из бессильного либерального движения в революционную силу. «Такой человек, как Лессинг,—говорил о нем Гете,—нужен нам, потому что он велик именно благодаря своему характеру, благодаря своей твердости. Столь умных и образованных людей много, но где найти подобный характер?».

Демократическим и революционным содержанием проникнуты все сочинения Лессинга, но философское обоснование своим взглядам Лессинг дал главным образом в статьях против гамбургского обер-пастора Геце, взявшего на себя защиту лютеранской ортодоксии, в брошюре «Воспитание человеческого рода» и в драме «Натан Мудрый». В этих сочинениях Лессинг порывает с благонамеренным деизмом Вольфа и Николаи и направляет свои удары против христианства. Лессинг усердно изучал Спинозу и усвоил его философскую систему. Под влиянием Спинозы в представлении Лессинга бог превращается в безличную силу, совпадающую с природой; постичь бога, по мнению Лессинга, это то же, что постичь природу, «вернуть, значит считать что-либо истинным в силу естественных причин». При таком отношении к богу и к вере в мировоззрении Лессинга совсем не остается места для религии, и религиозные термины только прикрывают его фактическое безверие. Имея в виду деистов, он нападает на тех, кто «искореняет в нас самые грубые предрассудки, а полную истину скрывает, желая удовлетворить нас чем-то средним между истиной и ложью». В прибавлениях к изданным им «Фрагментам» Реймаруса он осмеивает стремление деистов примирить религию с разумом. В другой статье он упрекает деистов за то, что они научились «насилу склонять разум к вере». В «Натане» Лессинг как бы хочет сказать, что религии вообще не нужны и что истина

достигается не путем религии, а путем деятельной любви к ближним.

В отношении критики религии у Лессинга была и еще одна крупная заслуга, поднимавшая его не только над умеренным полупросветительством немецких деистов, которое он называл «вялым и трусливым», но и над гораздо более радикальной, но совершенно неисторической трактовкой религии со стороны французских рационалистов и материалистов. Он высказывает плодотворный взгляд, что недостаточно осудить религию с высоты разума,—нужно еще объяснить ее как историческое явление. Уже в письме к Мендельсону от 9 января 1771 г. он пишет, что для того, чтобы уничтожить веру в откровение как нечто безусловно истинное, необходимо исследовать условия возникновения и развития религии. С особенной яркостью этот исторический взгляд на религию Лессинг выразил в небольшом трактате «Воспитание человеческого рода», написанном в 1780 г. Конечно, настоящего научного понимания происхождения и развития религии у Лессинга быть не могло, но для его времени чрезвычайно важна высказанная им в трактате мысль, что каждая из религий появляется в определенную историческую эпоху в соответствии с той ступенью развития, на которой в эту эпоху и стоит человечество. Религия рассматривалась Лессингом, таким образом, не как выдумка жрецов, а как продукт человеческого сознания, нуждающийся в историческом объяснении. Основные религии располагаются Лессингом в известной исторической постепенности, определенной законами развития человеческого сознания. Замаскировывая свои взгляды теологическим языком, Лессинг говорит, что последовательно возникавшими религиями бог (читай: природа или законы истории) воспитывал людей, переводя их от низших ступеней мировоззрения на более высокие. На первой ступени развития людей можно было сдерживать или поощрять наказаниями или наградами лишь в их земной жизни,—и тогда появилась религия Ветхого завета с ее жестокими земными карами по отношению к грешникам. С прогрессом цивилизации явилось христианство с его идеей загробных наград и наказаний. Потом придет время, когда люди будут делать добро и избегать зла не из ожидания награды или страха наказаний, а ради самого добра, следуя своим внутренним влечениям. Таким образом, будущее представлялось Лессингу как время, когда исчезнет необходимость в самой идее бога, сыпавшего наградами и наказаниями; иначе говоря, идеалом Лессинга было освобождение человечества от оков теологического мировоззрения вообще.

Из идеи будущей безрелигиозности человечества Лессинг делал («в Массонских беседах») и другой вывод. Когда людей не будут разделять их религиозные взгляды, то не будет

препятствия к их объединению в одно универсальное человеческое общество. Таким образом, единство всех людей идеальный союз умов, поднявшихся над религиозными и национальными предрассудками, представляется Лессингу высшей целью человеческого существования, и над этим союзом по его мнению, должны работать благороднейшие умы человечества. Здесь Лессинг возвышается до идеи интернационализма, ничего общего не имевшей с космополитизмом американских реакционеров нашего времени, построенным на мракобесном стремлении одной нации подчинить себе все прочие нации и государства.

Однако и Лессинг не мог преодолеть ограниченности буржуазной идеологии своего времени. По словам Меринга, он «достиг границы, отделяющей идеализм от материализма, но переступить через нее ему не позволяло бедственное положение, в котором находилась Германия». Он разделял с большинством представителей (немецкого) рационалистического просвещения веру, что все зависит от того, насколько развит и просвещен человеческий разум, и потому в «Воспитании человеческого рода» ступени развития человечества ставил в зависимость только от состояния духовного развития людей. Самое разрушение ненавистного для него феодально-абсолютистского строя он представлял себе, главным образом, в виде духовного роста человечества, а победительницей над общественным злом в основном считал высшую силу разума и всепобеждающую пропаганду словом. В соответствии в этом он мирится с медленным и постепенным ходом человеческого прогресса. Сторонников быстрых и решительных изменений он утешает тем, «что кратчайший путь вовсе не всегда самый правильный» («Воспитание человеческого рода»). В другом месте (в «Масонских беседах») он говорит, что чувство сознания наших несчастий «можно пробудить в каждом только постепенно и начав издали, а за тем уже растить и культивировать его».

Лессинг всей душой ненавидел современный ему строй. Но в современной ему действительности целиком и полностью отсутствовали условия для революционного переворота, для коренной ломки общественных отношений, и Лессингу приходилось свой темперамент борца подчинять этим условиям. Медленность прогресса его мучила, и он спрашивал (в «Воспитании человеческого рода») «Не слишком ли много времени пропадает так для меня даром? И уже не пропало ли?» Но условия времени заставляли его с этим примиряться и находить утешение в риторическом вопросе «Стоит ли мне из-за этого тревожиться разве не мне принадлежит сама вечность?»

ИММАНУИЛ КАНТ

Наиболее яркого своего выражения нерешительность и колебания немецкой буржуазной мысли достигли в творчестве крупнейшего философа Германии XVIII века Канта (1724—1804). Буржуазная наука стремится представить Канта мыслителем вне времени и пространства, стоящим выше всякой связи с общественно-политическими условиями своего времени. Между тем, Кант в своей личной жизни и своей идеологии находился в полной зависимости от современной ему действительности.

Кант начал свою научную деятельность с занятий естествознанием. В 1755 г. он написал замечательное для его времени сочинение «Всеобщая естественная история и теория неба», в котором дал механическое объяснение происхождения и развития земли и всей солнечной системы. Достоинством этого сочинения, которое Энгельс называл «величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника»¹, было то, что им «впервые было поколеблено представление о том, будто природа не имеет никакой истории во времени»² и что «вопрос о первом толчке был здесь устранен»³. Для своего времени эта и некоторые другие естественноисторические работы Канта имели прогрессивное значение. Но и в этих работах Кант не освободился от идеи целесообразного (телеологического) объяснения законов природы, находя, что источником творения в виду его разумности мог быть только сознательно действующий разум. Таким образом, даже в своих естественнонаучных работах Кант не обошелся без признания бога.

В особенной степени буржуазная ограниченность Канта выразилась в его философских и общественных взглядах. Общественное и философское мировоззрение Канта вытекало из экономической слабости и политической нерешительности того класса, к которому он принадлежал и интересы которого он представлял,—немецкой буржуазии XVIII века. В своих философских и общественно-политических построениях Кант исходил из общих рационалистических взглядов, занимавших господствующее место в тогдашней буржуазной идеологии почти всей Западной Европы. Но в Германии самый рационализм принял бездеятельный, созерцательный характер, и это особенно ярко проявилось во взглядах Канта. За разумом Кант, как и другие немецкие рационалисты (Вольф, Николай и др.), готов был признать только право критического анализа, силу осуждения, но не силу действия. В этом отношении немецкий рационализм резко отличался от рационализма французского, который стремился разрушить

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. XIV, стр. 57

² Там же, стр. 57

³ Там же, стр. 480

феодалный строй, активно боролся против привилегий дворянства и духовенства, против поповского мракобесия, против деспотизма государственной власти, отчасти даже против религии. Немецкие рационалисты (и среди них прежде всего Кант) призывали только к свободе мысли. В этюде, написанном в 1784 г., «Ответ на вопрос, что такое просвещение?»—Кант говорил: «Для распространения просвещения необходимо одна лишь свобода, притом самая невинная из всех возможных—свобода во всех вопросах открыто пользоваться своим разумом...» И далее: «Общественное применение разума должно быть всегда свободным, и только этим путем просвещение может распространяться между людьми,—свобода же индивидуального, частного применения разума может подвергаться ограничению без ущерба для просвещения. Под общественным применением разума я понимаю то сообщение своих мыслей, которое человек в качестве ученого делает своим читателям. Под частным применением разума я понимаю приложение человеком своего разума в гражданских делах, ему вверенных, в той должности, которую он выполняет. В последнем случае во многих делах, имеющих общественное значение, мы встречаемся с таким необходимым механизмом, по отношению к которому известные члены общины должны сохранять лишь пассивную позицию. Они должны в этих случаях подчиняться распоряжениям правительства и воздерживаться от всего, что такового противоречит. Здесь действительно надлежит не рассуждать, а повиноваться. Но какую бы ценность не имел этот механизм для человека, состоящего членом общины, и даже для гражданина мира, в качестве **ученого** он все же может обращаться в своих работах к обществу,—рассуждать о самом этом механизме,—при том, однако, условии, что от этого не пострадает то дело, в котором его роль является пассивной... Гражданин не вправе отказываться от уплаты налогов, и если бы в тот момент, когда он должен их уплатить, он восстал бы против их обременительности,—это скандальное событие должно было бы навлечь на него наказание, так как оно могло бы послужить сигналом всеобщему неповиновению законам. Но тот же гражданин ничем не погрешит против своего гражданского долга, если он, как ученый, публично выскажет свою мысль о тягостях или несправедливостях этих обложений. Также и священник обязан обучать свой приход и только что обращенных в согласии с догматами той церкви, которой он служит. Но как ученый он пользуется полной свободой мысли и даже обязан поделиться с народом,—разумеется, после серьезных раздумий о том,—своими мыслями о всех недостатках в религиозном учении и в организации самой церкви и предложить проведение соответствующих реформ...».

Приведенная цитата чрезвычайно характерна не только для Канта,—она характеризует чрезвычайно ярко робость всего общественного мировоззрения немецкой буржуазии XVIII в. и отражает бессилие и пассивность самой буржуазии. Немецкая буржуазия того времени не была способна к действительному протесту, не была готова на революционные поступки,—наоборот, всем своим **поведением** она поддерживала существующий строй и боялась в чем-нибудь проявить по отношению к нему хотя бы и тень неповиновения. Единственно, на что она дерзала,—это словесная критика современных ей общественных и политических отношений.

Неудивительно поэтому, что ее вполне удовлетворял «просвещенный» абсолютизм Фридриха II с его декларативными заявлениями о свободе мысли и совести. В упомянутой уже статье о просвещении Кант пишет: «Теперь открыто перед нами поле и предоставлена возможность свободной его обработки. Препятствия же к всеобщему распространению знаний могут быть уменьшены с каждым днем. В этом смысле наш век может быть назван веком просвещения или веком Фридриха. Государь, который не считает недостойным себя объявить, что он считает своим долгом ничего не предписывать людям в области религии, но, напротив, предоставляет им здесь полную свободу, государь этот является самым просвещенным человеком и заслуживает благодарность мира и потомства за то, что, поскольку это зависимо от его власти, он вырвал людей из состояния детства и интеллектуальной зависимости».

Примиренческое отношение к действительности наложило свою печать и на философию истории Канта. Как двойственно было отношение его к современной ему действительности, которую он считал возможным критиковать, но по отношению которой он не допускал активной борьбы, так же двойственно было его философское мировоззрение, основанное на резком разграничении доступного для человеческого знания мира явлений и непознаваемых «вещей в себе», доступных лишь для веры и убеждения, но не для разума.¹ В первом мире—мире явлений—действует закономерность, причинная обусловленность и подчиненность человеческого знания опыту, во втором—непостижимом мире «вещей в себе»—господствуют бог и свобода воли и действует обязательный моральный долг («категорический императив»), необходимость подчинения которому нельзя доказать, но следование которому обязательно для всех нравственных людей. Двойственность кантовского мировоззрения прекрасно определил

¹ «Критика практического разума» появилась несколько позднее некоторых из указанных работ (1788), но основы индивидуалистического мировоззрения Канта и даже сущность идей, выраженных в «Критике практического разума», уже были заложены в его более ранних работах.

Ленин, указав, что «основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противоположных философских направлений. Когда Кант до пускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе,—то тут Кант материалист. Когда он объявляет эту «вещь в себе» непознаваемой трансцендентной, потусторонней,—Кант выступает как идеалист».¹

Не останавливаясь на чисто философских взглядах Канта, которые много раз излагались в советской литературе я более подробно остановлюсь на его исторических работах, которые менее известны и которые очень ярко отражают двойственность его мировоззрения.

Эта двойственность мировоззрения Канта ярко выразилась уже в первом его философско-историческом сочинении «Идея всеобщей истории». В этой работе Кант пытается примирить причинную обусловленность всех явлений человеческой истории и существование созданного природою (иначе богом) плана развития, вытекающего из какого-то божественного предназначения людей и направляющегося к определенной цели. Иначе говоря, Кант пытается примирить здесь закономерность и теологизм.

Свою работу Кант начинает словами: «Какого бы понятия ни составлять себе метафизически о свободе воли необходимо, однако, признать, что проявление последней—человеческие поступки—подобно всякому другому явлению природы—определяются общими естественными законами. История, занимающаяся изучением этих проявлений, как бы глубоко не были открыты их причины, позволяет думать, что если бы она рассматривала всю совокупность человеческой деятельности, то могла бы открыть ее закономерный ход; и то, что в глазах единичного человека представляется запутанным и неправильным, можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя медленное развитие его первичных способностей. Так браки, обуславливаемые ими рождения, и смерти, на которые свободная воля человека имеет столь большое влияние, кажутся неподчиненными никакому правилу, на основании которого можно было бы наперед математически определить их число. Между тем ежегодные таблицы этих событий в больших странах показывают, что они также протекают согласно постоянным законам природы, как те столь изменчивые состояния погоды, которые в единичных случаях нельзя заранее определить, но которые в общем не менее непрерывно и равномерно поддерживают произрастание зла

ков, течение рек и другие явления природы».¹ Таким образом, здесь Кант наряду с другими передовыми умами XVIII в. порывает с теологическим мировоззрением, с верой в чудеса и во вмешательство божества в человеческую историю. В переводе на общественно-политический язык это значило, что он, основывая человеческую историю на законах, требовал уважения к законам и со стороны властей и осуждал всякое произвольное нарушение человеческих прав.

Но как и большинство философов XVIII века, отрицая произвол чуда в истории, Кант не мог возвыситься до отрицания какого-то руководства со стороны высшей силы всей человеческой деятельностью в совокупности и во всей ее сложности. Он признавал какую-то предопределенность, изначальную предназначенность человеческой истории, которая независимо от людей действует на ход событий. В человеческой деятельности осуществляется «предначертание природы, на основании которого о существах, действующих без собственного замысла, была бы возможна все-таки история согласно определенному плану природы».² Таким предназначением человека, положенным для него высшими силами, является многостороннее и совершенное развитие природных способностей человека. «Все естественные способности существа предназначены однажды и совершенно развиться».³—говорит Кант в первом положении «Идеи всеобщей истории».

То, что Кант признавал поступательный ход человеческой истории и конечный ее результат видел в многостороннем развитии личности,—вполне согласовывалось с идеями прогрессивной части тогдашней буржуазии, заинтересованной в уничтожении феодально-церковных препятствий к личному развитию человека. Но признание изначальной предначертанности истории сообщало его мировоззрению не только телеологический, но и теологический характер и указывало на неспособность Канта оторваться в своих исторических представлениях от идеи бога, руководящей судьбами человечества. Научное мышление у Канта здесь как бы боролось с теологической предпосылкой о божественном руководстве, и выйти из круга этого противоречия Кант не был в силах.

Такой же двойственностью проникнуто представление Канта о конечной цели человеческого развития. Одним из боевых вопросов буржуазной философии XVIII века был вопрос о том, что является более ценным—индивидуальное счастье личности или общественное благо. Самая постановка этого вопроса чрезвычайно характерна для того времени,

¹ «Родоначальники позитивизма», вып. I, перевод с немецкого с предисловием Максима Ковалевского, 1910, стр. 3.

² Там же, стр. 4.

³ Там же.

ибо немецкая буржуазная мысль XVIII века стояла на той точке зрения, что примирение личного счастья и общего блага невозможно, что конфликт между целями индивидуального существования и конечными целями исторического развития всего человечества неизбежен. Такое противоположение личного счастья и правильной государственной организации особенно характерно для немецкой буржуазии XVIII века. С одной стороны, государственная организация и в Германии в целом, и в отдельных княжествах имела такой отвратительный и уродливый вид, что в ее рамках счастье отдельных людей, казалось, было недостижимо даже при условии улучшения общественных порядков до возможно высокой степени, а с другой стороны, немецкий бюргер нуждался в порядке и власти, обеспечивающей его спокойное существование.

Кант в своих государственно-правовых взглядах стал на защиту порядка и государственной власти. Он не верил в справедливость и правильность порядков, вытекавших из естественных отношений между людьми, и искал выхода из анархии индивидуальных интересов в самом государстве, которое обеспечило бы интересы целого, но не интересы отдельных людей. Личное и общественное благополучие, по его мнению, далеко не совпадают. Природа, толкающая человека все выше и выше, думает об интересах рода, а не об интересах индивида. Поэтому целью истории не может быть только то, что касается отдельных индивидов. Ею должно быть лишь то, что обнимает общие условия существования всех людей, а таким может быть единственно правовое общежитие, распространяющееся по возможности на все человечество, соединяющее все народы в один мировой союз.

Индивидуальное счастье, по мнению Канта, не может быть назначением человечества; оно показывает только то, что чувствуют отдельные люди. Но для культуры важно не то, что они чувствуют, а то, какие культурные приобретения они делают. Культура же может быть только продуктом государственного устройства, из чего следует, что вне государства не может быть культуры.

Этот культ государства как необходимого условия человеческого прогресса и признание ценности за культурой, достигаемой только в государстве, ставил Канта в противоречие с Руссо, с которым у него в других отношениях были некоторые, хотя и преувеличиваемые обычно, точки соприкосновения. Для Канта культура является плюсом для всего человечества, но минусом для отдельных людей. Первый шаг культуры был связан с ущербом для привольной жизни дикаря; люди осознали блага культуры, и между ними началась борьба за них; эта борьба оказалась благодетельной для рода, так как она должна была приучить людей к совместной де-

ятельности, т. е. содействовала развитию общественности и гражданского порядка. Но счастье и права индивида она поставила под угрозу. Таким образом, то, что явилось злом для индивида, для общества оказалось необходимым средством прогресса. При этом надо иметь в виду, что для Канта культура достигается только в государстве, и его защита культуры, связанной, как писал Кант, с ущербом в пользовании людьми их свободой и с пользой для общества, была по существу защитой государства и государственного порядка.

Здесь мы подходим к вопросу о том, какое государственное устройство Кант считал наилучшим. Вопросу о наилучшем государственном строе Кант уделял некоторое внимание в уже упомянутых исторических работах. Но в них он разрешал этот вопрос слишком общо. Общий смысл высказываний Канта относительно наилучшего государственного строя в этих работах может быть выражен одной фразой: «человек должен пожертвовать своей животной свободой и искать покоя и безопасности в закономерном государственном устройстве»¹. Государство, таким образом, представлялось Канту учреждением, без которого ни нравственная свобода, ни гражданское равенство, ни развитие индивидуальных способностей не могут быть достигнуты. Этим общим соображениям Кант дал развернутую и конкретную форму только в одной из самых поздних своих работ,—именно в «Вечном мире», написанном в 1795 г. В этой работе Кант высказывает, на современный взгляд, довольно странные мысли. В «первой дефинитивной статье к вечному миру» он категорически говорит: «устройство каждого государства должно быть республиканским»². Но трактовка республики и Канта чрезвычайно оригинальна. Оказывается, республиканская форма правления основана на одном главном принципе—на отделении власти исполнительной от власти законодательной. «Республиканизм,—говорит Кант,—есть государственный принцип отделения исполнительной власти от законодательной»³. При этом необходимым предварительным условием для «республиканского» способа управления, без которого не может быть проведено самое разделение властей, у Канта является представительная система, т. е. иначе конституционное ограничение исполнительной власти, кому бы она ни принадлежала—одному лицу или всем. Противоположностью республики является деспотизм, основанный на «принципе самовластного выполнения государством законов, данных им же самим», т. е. тот способ управления, при котором власть исполняет законы, которые она сама же издает. Из этого оп-

¹ «Родоначальники», стр. 9

² И Кант. Вечный мир, 1905, М., стр. 12.

³ Там же.

ределения Кант делает довольно неожиданный вывод, что «форма демократии в собственном смысле слова необходимо является деспотизмом»¹, ибо при ней «все хочет властвовать»² Кант писал все это в 1795 г. под живым впечатлением якобинской диктатуры, к которой он относился отрицательно, и нетрудно видеть, против **кого** направлено это определение демократии как деспотической формы правления.

Но нельзя думать, что такое определение было вызвано минутным раздражением против французского революционного террора. В уже упомянутой статье «Что такое просвещение», написанной задолго до французской революции (в 1784 г.), мы видим такие же выпады против господства масс. «Революция,—говорит Кант в этой статье,—может повлечь за собою низвержение отдельных представителей деспотизма; она может положить конец тирании, жадности и тщеславию. Но никогда не может она произвести истинной реформы в области мысли,—она только отдаст толпу во власть новых предрассудков». Осуждение Кантом демократии вытекало, таким образом, не из случайного порыва, не из временного раздражения, а из существа его умеренно-бюргерской природы.

Характерно при этом, что, осуждая демократию, Кант при своих квази-республиканских взглядах относился с гораздо большими симпатиями к монархии и даже к аристократии, чем к демократии. «..Если два других государственных устройства,—говорит Кант,—монархия и аристократия—всегда ошибочны уже постольку, поскольку они дают место подобному (непредставительному и чуждому разделению властей.—**В. П.**) способу управления, то все же для них, по крайней мере, есть возможность принять способ управления, соответствующий с духом представительной системы, как это выразил, по крайней мере Фридрих II, сказав, что он—только высший слуга государства; тогда как демократическая форма, напротив, делает это невозможным, так как в ней все хочет властвовать».³

Таким образом, задачей истории, по Канту, является установление наилучшего государственного строя, который Кант по существу находит в конституционной монархии, а отчасти даже и монархии абсолютной, при условии, что она будет просвещенной. При этом права государственной власти у Канта определяются в полном согласии с его буржуазным либерализмом, как права ограниченные, направленные только к ограничению «беззаконной свободы» людей и к установлению гражданского порядка. Поэтому функции государственной власти у Канта являются по преимуществу отрицательными:

¹ И Кант Вечный мир, стр. 16

² Там же, стр. 17.

³ Там же.

они заключаются в пресечении проявлений злой воли человека, вытекающих из его «дурной» природы. Но Кант настолько боялся демократии, что готов был примириться и с абсолютизмом, особенно просвещенным, в котором он видел действенное средство для ограничения «беззаконной свободы» людей

К числу противоречий, которыми проникнута философия истории Канта, относится и противоречие между необходимостью и свободой. В «Критике практического разума» отношения между необходимостью и свободой определяются Кантом в полном соответствии с его дуалистическим различием мира «явлений» и мира «вещей в себе». В мире «явлений» безусловно и безраздельно царствует необходимость и причинная обусловленность. Она относится как к миру физических явлений, так и к миру человеческой истории, в которой нет места ни для какой свободы. «Каждое событие,—говорит Кант в «Критике практического разума»,—следовательно, и каждое действие (Handlung), которое происходит в данный момент времени, необходимо обуславливается тем, что было в предшествовавшее время; так как прошедшее время уже не находится в моей власти, то каждое мое действие должно быть необходимо в силу определяющих оснований, которые мне не подвластны».¹ Следовательно, человеческая деятельность подчинена обязательным законам, и человек здесь является не свободно действующим субъектом, а объектом деятельности которого с необходимостью определяется силами, находящимися не в его власти.

Наоборот, понятие свободы Кант относит в сверхчувственный мир потусторонних «вещей в себе»; но «вещи в себе», не являясь предметом опыта (в том числе и исторического), доступны только для верования или для морального убеждения и относятся к области религии и этики. Из этого нужно было бы сделать вывод, что историк, который имеет дело только с «явлениями», не может иметь никакого дела ни с самими «вещами в себе», ни со свободой, царствующей исключительно в их мире. Однако, когда Кант приступил к своему философскому построению истории, он отступил от этого резкого ограничения свободы, царствующей среди «вещей в себе», и необходимости, действующей в мире человеческих поступков, и этим чрезвычайно запутал поднятый им вопрос об отношении необходимости к свободе.² Эта запутан-

¹ Kritik der praktischen Vernunft, Werke, B. V, SS. 103—104, 1914.

² В книге т. Асмуса «Маркс и буржуазный историзм», в которой вопрос об отношении Канта к проблемам свободы и необходимости разрешается только на основании чисто философских сочинений Канта и главным образом на основе «Критики практического разума», при выяснении исторических взглядов Канта игнорируются как раз его исторические работы, и поэтому философия истории Канта получает недостаточ-

ность вытекала из того, что для Канта история являлась не просто причинно обусловленным процессом, но в то же время и выполнением долга, возложенного на человечество в его целом природою (провидением), и потому исторические события Кант рассматривал с двойной точки зрения: с точки зрения их причинной обусловленности и с точки зрения выполнения историей тех конечных задач, которые на нее возложили какие-то высшие силы. Иначе говоря, в свое объяснение исторического процесса Кант вносит не только идею причинности, но и идею должностования. Это неизбежно вытекало из двойственного понимания истории Кантом, на которое уже указывалось в начале статьи, как процесса с одной стороны, закономерного, а, с другой стороны, целевого, телеологически определенного.

На основании этого двойственного понимания истории Кант и пытался спасти идею свободы в истории, отступая от своего основного взгляда, что в мире явлений может действовать только причинная обусловленность. Конечная цель исторического развития у него—это достижения человечеством такого идеального состояния, при котором свобода, вырвав человека из подчинения инстинкту и подняв его над миром обусловленных явлений, станет фактом и реальностью. Этим Кант вступает в противоречие своему основному утверждению, что между миром явлений, подчиненных закону причинности, и миром свободы, где царствует идея долга, нет ничего общего. У Канта выходит, таким образом, что человек, действующий как «феномен» истории, с одной стороны, подчинен естественной необходимости, а, с другой стороны, он же, как существо наделенное свободой воли, на основании своего морального сознания и чувства долга может как-то свободно определять свое поведение и этим содействовать осуществлению конечной цели, поставленной перед людьми природою. Понятие свободы, таким образом, теряет у Канта тот исключительный «ноуменальный» (т. е. свойственный «вещи в себе») характер, какой оно имеет у него в «Критике практического разума», и приобретает характер «феноменологического» (т. е. свойственного миру «явлений») понятия.

Таким образом, здесь Кант как историк, впал в противоречие с тем, что он утверждал как философ. Введение понятия свободы в мир истории, как основного средства для достижения в будущем мирового порядка, Канту было нужно для того, чтобы оправдать право немецкой буржуазии на словесное осуждение произвола и бесправия феодального мира; но, связывая это понятие лишь с моральным долгом

человека, он этим самым отрывал «свободную» деятельность человека от общественной жизни, подчиняя не только сознанию человека, именно его моральному долгу, и этим самым придавал отстаиваемому им в истории принципу свободы, как принципу практического поведения, безобидный, лишенный общественного значения характер. Свобода в истории у Канта—это только вид морального, но не общественного протеста против современных ему порядков.

Таким образом, в своей общественной идеологии Кант не мог выйти из круга противоречивых представлений. Основной причиной всех его противоречий были бессилие и нерешительность того класса, идеологическим представителем, которого был Кант, т. е. немецкой буржуазии XVIII века. Она была одновременно и недовольна существующим строем и бессильна для борьбы с ним. Этой двойственностью класса, которому Кант сочувствовал, объясняются и колебания Канта между теологическим и закономерным пониманием истории, и его отказ от возможности примирить в **процессе** исторического развития личное благополучие и общественное благо, и его стремление найти идеал **республики** в конституционной **монархии**, и, наконец, его противоречивое понимание свободы, относимой им то к миру «вещей в себе» (в «Критике практического разума»), то к миру исторических «явлений» (в его исторических работах), и его политическое обезвреживание этой идеи приданием стремлению к свободе морального, а не общественного характера. От этого же бессилия немецкой буржуазии зависело и то, что Кант, как и сама буржуазия, был готов только на словесный протест против произвола и бесправия феодального строя, но боялся вступать на путь практической борьбы с ним, считая борьбу **словом** законной, но называя **неповиновение** власти «скандальным».

ИОГАНН-ГОТФРИД
ГЕРДЕР

Иной характер имели взгляды другого крупнейшего немецкого писателя второй половины XVIII века—Гердера (1744—1803), родившегося в Морунгене (Восточная Пруссия) в семье бедного школьного учителя. Он учился в Кенигсбергском университете, где слушал Канта. Мировоззрение Гердера складывалось не столько под влиянием просветительной философии XVIII века, сколько под влиянием философии чувства, примыкавшей к руссоизму. Эта реабилитация чувства имела для того времени известное прогрессивное значение. В Германии, как мы видели, рационализм имел умозрительный, созерцательный характер. Разуму давалось право критиковать и осуждать, но ему отказывалось в праве действовать. Противники этого созерцательно-рационализма противопоставляли разуму—как бездейственному началу, чувство—как активную творческую силу. Гердер

но полное освещение даже в том узком аспекте, в каком рассматриваются в ней взгляды Канта,—в аспекте отношений Канта к идеям необходимости и свободы

и начал свою литературную деятельность с реабилитации чувства. Популярная просветительная философия казалась ему жалкой проповедью умеренности и аккуратности. И позднее, в своем основном сочинении «Мысли о философии истории человечества», он нападал на разум. «Переполненная знаниями голова,—писал он,—хотя бы это были и золотые знания, удручает тело, стесняет грудь, затемняет взгляд и становится болезненным бременем для того, кто ее носит».

Во взглядах Гердера была и другая, прогрессивная сторона, а именно, стремление сблизиться с народными массами. Просветители (и между ними Кант, но не Лессинг) приписывали умственно развитым личностям руководящую роль в истории и с некоторым пренебрежением смотрели на невежественные массы. Гердеру этот духовный аристократизм был чужд. Он считал, что все культурные ценности созданы не отдельными лицами, а коллективной деятельностью народных масс. Отсюда у него возникал огромный интерес к народной поэзии. «Он научил нас,—говорил Гете о Гердере,—понимать поэзию как общий дар всего человечества, а не как частную собственность немногих утонченных и развитых натур». В конце 70-х годов он собрал и перевел народные песни разных национальностей и этим изданием «голосов народов» познакомил своих современников с величественными созданиями народного творчества.

Гердер пошел еще дальше в своем разрыве с индивидуалистическим мировоззрением. Просветители рассматривали человека как создание, изолированно стоящее среди других существ. Гердер же пытался связать человека с другими организмами преемственной связью. Он выдвигал новую для своего времени теорию последовательного возникновения различных тел и организмов природы и переходы от низших форм к высшим в порядке возрастающей сложности их организации. Сначала появились самые простые тела, затем, «переходя от камня к кристаллу, от кристалла к металлу, от металла к растениям, от растений к животному и от животных к человеку», организация усложнялась, пока в человеке не достигла вершины своего развития. Это положение Гердер облачал, однако, в теологическую форму: к созданию человека ведет природу руководящее ею божественное проведение. Иначе, чем Кант, рассматривал Гердер и вопрос о прогрессе.

В отличие от Канта, который резко разграничивал бытие и должностное, природу и свободу, Гердер оставался всегда монистом, рассматривая историю человечества как проявление той же силы, какая лежит и в основе природы. Человек есть продукт природы. Поэтому и законы исторического развития человечества тождественны законам природы. Из истории как науки должно быть выброшено не только пред-

ставление о вмешательстве каких-либо сверхестественных сил, но и понятие целесообразности. «Проведение» и здесь действует, но лишь через установленные им законы природы. Действующие причины, лежащие в основе научного познания природы, являются единственно правильным принципом научного познания и в истории. Сама человеческая культура есть продукт взаимодействия сил природы, действующих в природе бессознательно, и человека, действующего и мыслящего и в качестве такового стремящегося осуществить полноту своего проявления, заключающегося в обнаружении максимума человечности (гуманности), т. е. разума и справедливости. В «Мыслях о философии истории человечества» Гердер, исходя из этих принципов, нарисовал широкую картину развития человечества как истории отдельных народов в их стремлении к гуманности. Эта книга, заслужившая высокую похвалу Гете, встретила резкую критику со стороны Канта.

Тяготение к изучению истории отдельных народов сочеталось у Гердера с необычайной чуткостью к проявлению национальных особенностей их культуры в полном соответствии с политическими идеями складывавшейся немецкой буржуазии, формировавшей в XVIII веке идею нации как культурной общности. Гердер одинаково восхищался народной поэзией древних греков, славян, немцев, говорил с восторгом о свежести и силе поэтического творчества, порожаемых простотою жизни малокультурных народов, далеко не в духе Просвещения, скорее романтически оценивал положительно культурное наследие средних веков и заложил основы сравнительного языкознания, ибо язык—одно из первых оснований человеческой культуры и прежде всего культуры каждого народа. «Для Гердера,—сказал впоследствии Гейне,—все человечество было как бы арфой в руке великого артиста; каждый народ казался ему отдельной струной, но он понимал общую гармонию, истекавшую из этих различных аккордов».

Канту прогресс представлялся в виде преодоления первоначальной грубой эгоистической природы человека государственными учреждениями, действующими с помощью принудительной власти. Гердер же в противоположность Канту верил в первоначальную доброту человеческой природы и не признавал прогрессивной роли государственной власти. В некоторых местах «Мыслей о философии истории» он доходил даже до прямого отрицания государства, особенно вооружаясь против больших монархий. «В больших государствах,—говорил он в 8-й книге «Мыслей»,—сотни должны голодать, чтобы один расточитель жил в роскоши; десятки тысяч угнетаются и доводятся до смерти, чтобы один коронованный глупец или мудрец (явный выпад против просвещен-

ного абсолютизма) мог привести в исполнение свои фантазии». Таким образом, по мнению Гердера, прогресс достигается не благодаря государству, а вопреки ему.

В симпатиях к народным массам, во внимание к коллективному народному творчеству, в протестах против угнетательской роли государственной власти Гердер был демократичнее просветителей и Канта, а в протестах против холодно рассуждающего, а не действующего разума — активнее их. Его философия выражала собой настроение более демократических, более смелых и более связанных с народом слоев мелкой буржуазии. Если влияние просветителей на немецкую общественную мысль в некоторой степени соответствовало влиянию Вольтера на французскую, то роль Гердера напоминала роль Руссо.

Но влияние Гердера на общественную мысль Германии было все-таки значительно менее решительным и возбуждающим, чем влияние Руссо. При всех своих симпатиях к народным массам Гердер все же ценил, главным образом, только личное, а не общественное развитие. Целью истории он считал достижение «гуманности», под которой он разумел ясный ум, соединенный с совершенной добротой, т. е. чисто индивидуальные достоинства. Развитие «гуманности» он рассматривал вне всякой связи с общественными отношениями и политическим строем и видел в ней результат личного совершенствования, которое может быть достигнуто при любых порядках как следствие роста любви и уважения людей друг к другу. Гердера отделяло от космополитически настроенных просветителей и то, что он ценил своеобразие национальных культур и, главное, стремился к национальному объединению своей родины. Но от национального объединения, в частности от воссоединения Германии, он ждал только восстановления ее духовного единства, только сосредоточения и собирания ее духовных сил. Даже в своих мечтах об единой Германии он был далек от идеи борьбы за лучшие социально-политические порядки. Потому-то из философских взглядов Гердера, а также из его объединительных стремлений (как и из космополитических мечтаний Канта о «вечном мире») нельзя было сделать революционных выводов.

И Кант, и Гердер были философами по преимуществу и только теоретически и попутно интересовались вопросами современной общественной жизни. Больше внимания к этим вопросам обнаруживали историки, зачастую являвшиеся одновременно и публицистами. Из них нужно прежде всего отметить Юстуса Мезера (1720—1794). Он происходил родом из маленького города Оснабрюка, где был довольно крупным чиновником. Его главной исторической работой была «История Оснабрюка». Кроме того, он на-

писал несколько публицистических сочинений, из которых самое видное место принадлежит «Патриотическим фантазиям». В своих работах он был ярким противником бюрократизма и абсолютизма, даже в его просвещенной форме. Свои главные надежды он возлагал не на просвещенных государей, а на общество. «Я желал бы видеть,—писал он,—не такое общество, в котором король—лев, а все остальные граждане—муравьи, но такое, в котором из хижины продвигаются по мирным ступеням к трону, и подле короля есть люди, имеющие права». Но его понимание общества и общественных прав было очень ограниченным. Его идеалом был союз свободных землевладельцев, хозяйствующих на собственной земле по обычаям дедов и прадедов. Кто не имеет земельной собственности, тот не имеет права и на участие в общественной жизни. Идеалом Мезера было восстановление старого самоуправления немецких городов или сельских общин, когда власть в этих мелких центрах принадлежала свободным домохозяевам или собственникам земли, не подчинявшимся вмешательству центральной власти. Он резко нападал на централизм и бюрократизм, на гнет центральной власти, на обилие чиновников при мелких дворах, на самое мелкодержавие, на налоги, которые идут на содержание дворов и чиновников. С политическим строем своего времени он, таким образом, не мирился, но противопоставлял этому строю порядки старины, что лишало его протест против абсолютизма всякого революционного содержания.

Его симпатии к стране сказались и в другом направлении. Он относился враждебно к росту мануфактуры, к возникающим капиталистическим порядкам и с сожалением говорил об упадке ремесла, находя, что в мануфактурах и рабочим живется хуже, чем в прежних ремесленных мастерских, и продукты вырабатываются худшего качества. В основном и здесь его симпатии были на стороне отживших порядков, и это сочувствие к прошлым формам жизни делало его критику современности беззубой и нереальной. Более того, оно приводило его к явно реакционным взглядам. Так, он оправдывал бесправное положение крепостных крестьян, ибо крепостные не имеют собственности и, следовательно, не имеют права на участие в общественных делах. К безземельным же и пришельцам он был настроен явно враждебно и даже отказывал им в освобождении от пыток, находя, что «великий водомет правосудия» должен струиться только на свободных домохозяев. Он был даже противником борьбы с церковной ортодоксией, находя, что естественная религия годится только для образованных людей, а для масс, наоборот, нужна иная религия—с наказанием для негодяев и с утешением для несчастных. В практических предложениях, направленных к улучшению участи крестьян, он не шел дальше проекта превра-

шения крепостных в арендаторов их земельных участков, платящих денежную ренту господину. В общем Юстус Мезер отражал в своих работах взгляды вялого, несамостоятельного, социально и политически слабого, мелкого бюргерства, тянувшегося к восстановлению прежнего ремесленного производства и более всего боявшегося усиления налогов со стороны центральной власти.

АВГУСТ-ЛЮДВИГ ШЛЕЦЕР

Другим крупным немецким историком конца XVIII века был Шлецер (1735—1809). Он занимался вопросами не только всеобщей, но и русской истории и провел восемь лет в Петербурге, работая в Академии Наук над русскими летописями. Он много сделал для внесения в историческое изучение критического анализа источников, хотя сам не всегда следовал своим критическим принципам. Так при изучении всеобщей истории он обнаружил некритическое отношение к библии и, усвоив всемирноисторическую точку зрения, не поднялся, однако, над библейской схемой четырех монархий пророка Даниила. По своим политическим взглядам он был сторонником просвещенного абсолютизма, поэтому некоторые историки относят его к школе Вольтера. В просвещенном абсолютизме он ценил, главным образом, его тенденции к порядку, его стремления к территориальному расширению управляемых государств и к росту населения в них. Особенности симпатии он чувствовал к крупным государствам, что вытекало из его наблюдений над немецким мелкодержавием, в котором он видел главное зло. Но любовь к крупным государствам доводила его до идеализации восточных крупных монархий деспотического типа. Он был поклонником «торжествующей» при Екатерине II России с ее дворянско-крепостническими порядками и даже азиатского султана, затушевывая или совсем не замечая в этих крупных государствах тяжелого униженного положения масс. Он ставил древних греков ниже турок-османов на том основании, что первые были не способны преодолеть мелкодержавие и беспорядки внутри своих маленьких государств, а турки в этом отношении добились крупных успехов. Ненадки на мелкодержавие и на произвол были, таким образом, у Шлецера как бы обезврежены его преклонением перед крупными монархиями.

Следует отметить большой интерес Шлецера к проблемам экономической истории, высокую оценку им значения экономических процессов, развития торговли, мануфактур и земледелия.

АРНОЛЬД-ГЕРМАН ГЕЕРЕН

Третьим крупным историком этого времени был Геерен (1780—1842). Он интересовался по преимуществу вопросами экономической жизни, и его основная работа посвящена изучению торговых сношений древних

народов. В своих методах работы он обнаруживал зависимость отчасти от Адама Смита, ибо интересовался, главным образом, экономическими вопросами, отчасти от Монтескье, у которого он заимствовал идею о влиянии природы на историческую жизнь. Его интересовали по преимуществу вопросы об экономических связях между народами и о природно-экономических условиях, влияющих на эти связи. Поэтому он особенное внимание обращал на то, откуда и как достаются народам главные средства к существованию и как народы обмениваются этими средствами; иначе говоря, доминирующую роль в его работах играли вопросы о качестве и характере производимых продуктов, об экспорте товаров и о торговых путях. Вопросы внутренней, особенно социальной истории и политической проблемы его интересовали мало. Он был хорошим специалистом в той области, которую изучал, по преимуществу в области торговых дорог и связей между различными народами древности. Но он сознательно избегал в своих работах выводов социального и политического характера.

УВЛЕЧЕНИЕ АНТИЧНОСТЬЮ. ВЕНКЕЛЬМАН

Середина и конец XVIII века отмечены новым увлечением античностью—как бы вторым «возрождением классической древности».

Оно стоит в связи со слабым развитием социально-политических интересов среди немецкой образованной буржуазии и стремлением уйти от неприглядной действительности в области «чистого искусства» и эстетики. Однако в этом увлечении древностью можно отметить и прогрессивную черту. Среди ученых, занимавшихся античной древностью в XVII и даже в начале XVIII века, преобладал антикварный и узко специальный интерес к ней. Любители древности собирали античные памятники, накапливали коллекции, изучали топографию античных городов, описывали отдельные произведения архитектуры или скульптуры, писали биографии отдельных античных художников и этими разрозненными наблюдениями над античным искусством и ограничивались. Памятники древности рассматривались ими, таким образом, вне всякой связи их друг с другом. В них видели только результаты индивидуального и притом разрозненного творчества отдельных лиц, продукты как бы счастливого случая. Во второй половине XVIII века, в связи с выдвинутой Гердером мыслью о важности и значении народного творчества, к античным поэзии и искусству возникает иное отношение. Идеалистическое понимание античной культуры оставалось нетронутым и теперь, но исследователи все-таки искали общие причины, которые влияли на ее развитие, и рассматривали ее связи с природой, характером народа и политическим устройством. Они, конечно, были еще очень далеки от мысли, что явления искус-

ства возникают на соответствующем экономическом базисе, потому что их мировоззрение оставалось идеалистическим, но все-таки в античном искусстве они стали искать не разрозненные и случайные произведения отдельных гениев, а нечто объединенное общими признаками и даже подчиненное общим законам. На почве этого нового отношения к античности и появилась замечательная для своего времени «История искусства древности» (1764) Винкельмана.

Иоганн-Иоахим Винкельман (1717—1768) написал первую историю древнего искусства в настоящем смысле слова. Он порвал с антикварным отношением к древности, с бессистемным коллекционерством и с изучением только личных биографий отдельных художников. Он говорил, что его задача—дать историю искусства, а не художников. Он стремился найти основные черты этрусского, египетского и греческого искусства и определить основные эпохи в развитии художественного вкуса древности. Он расходился с общим рационалистическим направлением своего времени, примыкая к взглядам Гердера на культуру как на продукт народного творчества. Особенно ценил он греческое искусство, находя, что самыми характерными чертами его является спокойное величие и благородная простота.

При всем том взгляд Винкельмана на искусство оставался идеалистическим. Искусство, по его мнению, ставит своей основной целью изображение прекрасного, а «истинно прекрасное,—говорил он,—есть одно и не разнообразится». Мысль о том, что понимание «прекрасного» обусловлено влиянием исторических условий, была чужда Винкельману. Наивысшего и истинного понимания прекрасного, по его мнению, достигли греки. Поэтому и новое искусство было для него ценно лишь постольку, поскольку оно приближалось к греческому идеалу. Как и другие буржуазные писатели, Винкельман ценил свободу, но только в идеальной сфере духовного творчества. Греки, по его мнению, потому и создали великие образцы искусства, что их художественная деятельность была абсолютно свободной и от материальных забот, и от политического принуждения. Свобода, по его мнению, дает уход от действительности, возвышение над материальными интересами и погружение в собственное духовное самосовершенствование. «Душа существа мыслящего,—писал Винкельман,—имеет естественное стремление отделиться от материи и вознестись в сферу отвлеченных идей». Этим он как бы толкал своих читателей еще дальше уходить от действительности и еще меньше интересоваться современностью. В значительной степени под его влиянием позднее Гете и Шиллер отказались от революционных настроений своей юности и ушли в мир античности. В своей личной жизни Винкельман, сын бедного сапожника, слишком много испытал всяких бедствий от со-

временной ему немецкой действительности и немудрено, что мир античной древности казался ему более близким, чем доведшая его до нищеты и отчаяния немецкая родина. Но влияние его на современную ему общественную жизнь и искусство,—а оно было весьма сильным,—было отрицательным, так как под его влиянием многие художники отказывались от самобытности в своем творчестве, подражая античности.

Немецкая художественная литература второй половины XVIII века по своему социальному содержанию была проникнута буржуазно-оппозиционными, антифеодаль-

ными и антиабсолютистскими настроениями. Но и в этой области сказались ограниченность и недостаточная действенность классового сознания немецкой буржуазии. Наиболее яркими представителями этой буржуазной литературы были Клопшток, Виланд, Лессинг, так называемые «бурные гении», затем Гете и Шиллер.

ФРИДРИХ-ГОТЛИБ КЛОПШТОК

Клопшток (1724—1803) был, как и Гердер, горячим апологетом чувства и противником сухого и вялого рационализма немецких просветителей. Его главным произведением была поэма «Мессиада», в которой он описывал «искупительные страдания» Христа за человеческий род. В этой поэме Клопшток в религиозно-мистической форме хотел показать своим читателям в лице Христа образец служения людям и направить их мысли от мелких дряг жизни к альтруистическим подвигам. Через мистическую оболочку поэмы Клопштока проглядывает недовольство несправедливыми условиями современной ему жизни, стремление пересоздать отношения между людьми на новых основаниях и возбудить сочувствие к низшим классам. В соответствии с этим в поэме осуждаются «обитатели золоченых дворцов», «преступные монархи», «холопы государей» и все угнетатели человечества.

Буржуазным демократизмом было проникнуто и отношение Клопштока к французской революции. Он приветствовал ее горячими похвалами. Революция, в его глазах, принесла человечеству мир и свободу, и он призывал немцев подражать французам, за что Конвент почтил его званием «гражданина Французской республики». Когда же Пруссия и Австрия объявили войну Франции, он обрушился с гневными упреками на немецких правителей: «Вы хотите,—воскличал он,—огнем и мечом низвергнуть со страшной высоты энергичный и смелый народ, который спас себя сам и достиг вершины свободы; вы хотите принудить его снова попасть в рабство к дикарям». Он призывал поставить в качестве судей между контрреволюционной Европой и революционной Фран-

цией тех, «в чьих руках блеснит сошник плуга», и рядовых солдат армии.

Но мечтательный демократизм Клопштока был туманен, беспредметен, оторван от реального мира и пропитан мистицизмом. Как и многие другие свободолюбивые немецкие бюргеры, Клопшток был способен только на неопределенные, хотя и горячие, протесты против несправедливостей жизни во имя какого-то неземного идеала всеобщей любви. Построить на этих протестах какую бы то ни было программу общественной деятельности ни для него, ни для его читателей было, конечно, невозможно. При этом коренной ломки общественного строя Клопшток боялся: в «Мессиаде» в образе кающегося служителя Сатаны—грешного духа Абадоны, который в конце концов просит у бога прощения, он прославляет смирение и отказ от борьбы. В самом своем отношении к французской революции он не мог преодолеть буржуазной робости: когда во Франции начался период террора, он отскочил от сочувствия к революции.

Младшим современником Клопштока был знаменитый поэт Виланд (1733—1813). Он начал свою деятельность с подражания Клопштоку и его поэзии чувства, но скоро изменил мечтательным

наклонностям своей молодости и стал защищать гармонию чувства и разума и проповедывать эпикурейское наслаждение жизнью, основанное на руководимом спокойной деятельностью разума стремлении к умеренным наслаждениям. Эту эпикурейско-рационалистическую философию Виланд особенно ярко развил в романе «Агатон» (1766—1767).

По политическим своим взглядам Виланд сначала призывал к защитникам просвещенного абсолютизма. В «Золотом зеркале», написанном в 1772 г., он возлагает надежды на благотворительную философию, которую некий мудрый наставник внушает молодому принцу. В основе этой философии лежит демократическая мысль, что «все люди—братья с равными обязанностями». Виланд называет безумцами тех аристократов, которые требуют, чтобы «другие люди услужливо снабжали их пищей и одеждой... и беспрестанно трудились, чтобы избавить их от всяких хлопот». Но в то же время он боится решительных реформ и в своих практических предложениях не идет дальше утопического проекта—собрать детей в одном месте и научить каждого из них какому-нибудь ремеслу, с тем, чтобы выросши, они могли зарабатывать свой хлеб по найму трудом. Таким путем он хочет обеспечить бедняков и нищих работой за денежную плату и освободить от крепостной зависимости.

Позднее, когда во Франции началась революция, Виланд встретил ее сочувственно, но без того энтузиазма, которым

был проникнут по отношению к ней Клопшток,—с осторожностью уравновешенного бюргера и с боязнью, как бы она не перешагнула через известные рамки. Он и здесь старается держаться той же «золотой середины», что и в своем отношении к спору между правами чувства и разума. С одной стороны, он признает, что «дело французского народа было правым делом— делом всего человечества». С другой стороны, не осуждая прямо первых актов французской революции, он находит, однако, естественным мнение людей, «которые считают, что Национальное собрание идет слишком далеко в своих мероприятиях». Сам Виланд значительную часть своей жизни (с 1772 г. и до смерти) провел при дворе «просвещенного» веймарского герцога, привык к придворной жизни и совсем не хотел, чтобы троны немецких князей зашатались. Из этого вытекали его благоразумные и осторожные напоминания князьям, что времена переменились и что люди уже «не хотят переносить то, что переносили их отцы». В общем Виланд отражал настроение верхушки немецкого бюргерства, частично связанного с дворянством и с княжескими дворами. Он хотел бы некоторых перемен в той затхлой атмосфере, которою была пропитана Германия, но в то же время боялся, как бы эти перемены не зашли слишком далеко. Его примирительное отношение к властям сказалось особенно ярко в симпатии к мелкодержавию: он находил, что благодаря отсутствию централизованной власти немцы «уже обладают (!) большей частью тех свобод, которые нашим западным соседям еще приходится завоевывать».

ЛЕССИНГ На несравненно более высоком уровне стояла художественная деятельность Лессинга. Мы уже видели, что в своих историко-философских и антибогословских работах он высоко поднялся над умеренным и вялым просветительством немецких рационалистов. Так же высоко поднялся он в своих художественных произведениях над оторванной от жизни и мечтательной поэзией Клопштока или примирительной, колеблющейся между старым и новым, идеологией Виланда. Главными заслугами Лессинга как художника были прежде всего реализм и народность его драм. Он брал сюжеты для них из современной ему действительности и выводил в них не героев и богов, а хорошо знакомых ему людей из буржуазного общества и из народа, обрисовывая их характеры и поступки со всей силой своего великого художественного таланта. Далее, давая художественное изображение действительности, Лессинг вкладывал в него острую критику современного ему феодального общества и грубого произвола властей; этой критикой он как бы звал к борьбе со старыми порядками во имя правды, добра и свободы. В этом смысле его драмы, будучи мещанскими (т. е. бур-

жуазными), в то же время были обличительными и действительно революционными. «Это был целостный человек,—говорил про него Гете, — который если разрушал старое своей полемикой, то тут же создавал новое и лучшее».

В своих драмах Лессинг осуществил на практике то, чего он требовал от художественного творчества в своих критических произведениях (главным образом, в «Лаокооне» и «Гамбургской драматургии»). В этих работах он восставал против подражания французским ложноклассическим образцам, почтением к которым был охвачен прежде всего сам король Фридрих II, и разоблачал придворно-угоднический характер школы Готтшеда, приспособлявший французский классицизм к германским условиям. «Я придерживаюсь мнения»,—говорил он,—что двор—не такое место, где поэт мог бы черпать свое вдохновение». Подражание древности он видел не в том, чтобы выводить на сцену богов, героев и царей или соблюдать три единства, а в том, чтобы следовать древним авторам—Гомеру, Эсхилу и Софоклу—в правильном описании характеров и в понимании народной жизни. В соответствии с этим он защищал принцип, что «не может быть великим то, что противоречит правде», и что нет другой красоты, кроме естественной.

Лучшими драмами Лессинга являются «Минна фон-Барнхельм», «Эмилия Галлотти» и «Натан Мудрый», о котором уже говорилось. В «Мине фон-Барнхельм» Лессинг вводит читателя в мир деятельных, честных натур и в обстановку их борьбы. Ее главным героем является офицер Телльхейм, который разорился из-за того, что не захотел вымогать с населения налоги в пользу казны и внес «контрибуцию» из своих личных средств; он не ужил на военной службе и даже подвергся оскорбительным подозрениям. Он стремится к независимому труду, ненавидит «большой свет» и обрушивается на самую службу королю. «Служение великим мира сего,—говорит он,—чревато опасностями и не вознаграждает за труды, гнет и уничтожения, которых оно стоит». В противоположность этому он выдвигает патристическую идею служения «ради своей страны или из любви к делу».

Кроме самого Телльхейма, в драме выведены и другие честные, проникнутые любовью к жизни и готовностью на решительную борьбу характеры—невеста Телльхейма Минна, его вахмистр Вернер и др. Сопоставление ряда прямых, правдивых натур с утонченной пустотой и лживостью француза Рикко де-ла-Марлиньера ведет Лессинга к реабилитации народных черт немецкого характера и к признанию за немецким народом права на культуру, на прогрессивное участие в развитии человечества,—права, которое другой герой драмы—Фридрих и представители ложноклассической школы в Германии за немцами отрицали.

Еще более страстному осуждению подвергает Лессинг феодально-абсолютистский строй в «Эмилии Галлотти». В ней выведен мелкий итальянский князек, принц Гвастальский, развратный, пустой и жестокий. Его приспешники в угоду ему организуют убийство жениха понравившейся принцу красавицы Эмилии и хитростью заманивают ее самое в загородную резиденцию принца. Отец Эмилии Одоардо не в силах перенести позор дочери и закалывает ее. Драма явно направлена против произвола мелких немецких князей, хотя ее действие и разыгрывается в Италии. В ней с буржуазно-революционным пафосом бичуется мелкодержавный абсолютизм и реалистически описывается придворно-княжеский быт с его интригами, развратом, лестью и жестокостью. Сам Лессинг называл Эмилию «мещанской Виргинией» (Виргиния—героиня Римской республики, жертва сладострастия деспота Аппия Клавдия, которую заколол отец, чтобы спасти от позора), как бы подчеркивая этим свой республиканизм.

Действие философской драмы «Натан Мудрый» относится ко времени крестовых походов, и ее центральной фигурой является еврей, мудрый Натан, по существу чуждый какой бы то ни было религиозности, пантеист и гуманист, проникнутый любовью ко всему человечеству без различия вер и национальностей. В драме осуждается всякая нетерпимость, от кого бы она ни исходила—от христиан, евреев или мусульман. В ней чувствуется, хотя и в очень завуалированной форме, отрицательное отношение к религии вообще. Философским зерном драмы является притча о трех перстнях, рассказываемая Натаном султану Саладину в ответ на его вопрос, какая вера лучше всех. Некогда жил в одной восточной стране, отвечает Натан, человек, обладавший чудодейственным перстнем. Перед смертью, не желая обидеть ни одного из своих трех сыновей, он заказал искусному мастеру сделать еще два перстня, во всем похожих на первый, и дал затем каждому из сыновей по перстню. После его смерти братья заспорили между собой, какой из их перстней настоящий. Они обратились к судье, но мудрый судья отказался разрешить их спор. Он сказал братьям: «Ваш отец не захотел, чтобы создавалась в роде тирания от перстня одного, он вас любил, как видно, равно всех». Поэтому судья дал братьям совет—не спорить о достоинстве их перстней, а обнаружить «силу перстня, какой кому вручен», делами скромности, миролюбия и милосердия. Под тремя перстнями в притче, конечно, разумелись три религии—христианская, иудейская и мусульманская. Натан как бы хочет сказать своей притчей, что религии вообще не нужны и что истина постигается не в религии, а в деятельной любви к ближним.

В общем Лессинг в своей «мещанской драме», как и в других своих сочинениях, был гениальным защитником ин-

тересов поднимающейся буржуазии. Борясь за буржуазные интересы, он искренно верил в то, что борется за интересы всего человечества, за общечеловеческий идеал гуманности. К нему относится та характеристика передовых буржуазных идеологов XVIII века, которую дал Ленин: «Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного».¹

Настроения, выразившиеся
ЛИТЕРАТУРА «БУРИ И НАТИСКА»
Лессингом, были настроениями той левой части немецкой буржуазии, которая уже начинала соз-

навать свою силу, была проникнута чувством своего достоинства, с энергией защищала его и в то же время умела подчинить себя известной самодисциплине. Но таких бюргеров в тогдашнем немецком обществе было немного, и потому мировоззрение Лессинга, отражавшее их взгляды и интересы, не было доминирующим даже среди левых слоев немецкой буржуазии. Значительная часть этой левой (особенно мелкой) буржуазии не верила в свои силы, которые объективно были слабы. Но в то же время она была охвачена необузданной и страстной ненавистью к окружающей ее действительности. Выражением такого горячего, но бессильного протеста против действительности была поэзия так называемых «бурных гениев» (иначе «штюрмеров»), создавшая целый период в развитии немецкой литературы Sturm und Drangperiode (период бури и натиска), главным образом падающий на 70-е и отчасти 80-е годы XVIII в.

В противоположность рационалистам «бурные гении» взывали, как Гердер и Клопшток, к чувствам. Действительность их возмущала, вызывала в них бурю негодующих чувств, но в то же время, как они это сами сознавали, у них не было ни сил, ни возможностей ее изменить. Они были охвачены страстной потребностью к активному действию, но не хотели и не умели свою борьбу с действительностью подчинить логике, не могли подвести под нее разумные основания и на уродства жизни реагировали эмоционально—криками негодования, а иногда и слезами обиды и отчаяния. Не критиковать действительность, но попытаться взять одним порывом страстного возмущения ее неприступные твердыни или же просто разразиться плачем и рыданиями над несообразностями жизни—вот тот прием, с которым подходили к действительности молодые люди, примыкавшие к «бурным гениям».

ГАМАН

Одно время духовными вождями «бурных гениев» считались Клопшток и Гердер, но оба они были слишком уравновешенными и бюргерски умеренными натурами, чтобы разделять с ними до конца их страстные стремления к разрушению всех установившихся порядков и к ниспровержению всех признанных авторитетов. В наиболее яркой форме философию «бурных гениев» выразил «северный чародей» Гаман (1730—1788), создавший целую теорию о «внутреннем гении», которому не нужны ни знания, ни опыт, ни самый разум для достижения истины и который дает тому, в кого он вселяется, возможность быть пророком, открывающим все заветы природы и срывающим покровы со всех тайн.

Среди «бурных гениев» существовало два не особенно резко разграниченных течения (ибо иногда они соединялись в одном и том же лице): одно—чисто эгоцентрическое, направленное только к тому, чтобы оправдывать право гениальной личности на всякие действия, даже и преступные, и другое—связанное с протестом против современного общественного строя, хотя в основном также индивидуалистическое. К первому направлению примыкает Иоганн-Вильгельм Гейнзе, который в своем романе «Ардингелло» изображает человека, полного жизненных сил, но непрерывно переходящего от одного преступления к другому и оправдывающего все свои преступные действия тем, что они являются результатом избыточной энергии чувств и необузданной силы страстей. К этому же уродливому течению относится и Кристоф Кауфман, который, желая показать, что достоинство человека заключается в силе его чувств, а не в образовании и не в культуре, не соблюдал правил литературной речи, ел сырой картофель, не стриг волос, ходил в грязной одежде и т. п.

У большинства «штюрмеров», однако, их бунтарские порывы соединялись с протестом против общественных несправедливостей. К таким «штюрмерам» относится Фридрих-Максимилиан Клинггер (1752—1831), драма которого «Sturm und Drang» (1776) дала название всему течению. Ярый защитник прав личности на самоопределение, индивидуалист до мозга костей, Клинггер, однако, в своих многочисленных романах и драмах поднимает и социально-политические вопросы. Он нападает на жестокость князей, доводящих своих подданных до самоубийства, на жадность духовенства, на праздность аристократии и даже на плутни буржуазии и противопоставляет всем им девственных обитателей горных стран, свободных от эгоизма. В романе «Жизнь Фауста» он изображает бедняка, который поднимает бунт против всех устоев современного ему общества. Ярко клеймит позор крепостного права и Иоганн-Гейнрих Фосс (1751—1826), сам сын крепост-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 473.

ного; о крестьянах он говорит, как о «дикарях», бледных и оборванных, тощих, как рабочие клячи, жестоко наказываемых за каждый проступок, к которому их влечет голод». Мотивы социального протеста есть и у других «штюрмеров»: у Готфрида-Августа Бюргера (1747—1794), изображающего протест крестьянина против своего князя, собаки которого топчут посевы и луга (стихотворение «Крестьянин своим князьям»), у Якоба-Михаэля Ленца (1751—1792), дающего в «Гофмейстере» злую критику дворянской чванливости и грубости, и у некоторых других. Наиболее же ярко общественные мотивы выразились у Христиана-Фридриха Шуберта (1739—1791), который обладал темпераментом настоящего политического борца и провел десять лет в крепости за злые насмешки над герцогом Вюртембергским. Нападки Шуберта на современный ему общественный строй дышат мрачной энергией. В «Княжеской гробнице» он обращается к беднякам, замученным князьями, теперь лежащими в гробах: «Вы все, которых они (князья) обездолили, не разбудите их вашими жалобными столами... Пусть не хлопает здесь бич бедного крестьянина, спугивающего ночью дичь со своей нивы; пусть не останавливается у этой решетки тяжело дышащий больной. Пусть здесь не плачет бедный сирота, у которого тиран отнял отца; пусть здесь не раздаются проклятия инвалида, искалеченного на иностранной службе. Будьте человечны и не будите их слишком рано. Над ними и без того достаточно рано грянет гром страшного суда».

Из «штюрмеров» не вышли и не могли выйти революционеры. Их бунтарские порывы были слишком неопределенны и лишены классового содержания. Противоположность между эксплуатируемыми и эксплуататорами они подменяли противоположностью между выдающимися личностями, стремящимися к свободе и свету, и остальным праздным и грубым обществом, глухим к их высоким порывам. Они были оторваны от народа, представляли собою вождей без масс, и потому их протесты не находили себе отклика. Да и сами они не стремились найти себе поддержку в обществе, которое они более презирали, чем стремились переделать.

К «бурным гениям» в молодые годы принадлежали и величайшие поэты Германии—Гете и Шиллер. Мы здесь рассмотрим в общих чертах их деятельность только в дореволюционный период (т. е. до 1789 г.).

Гете (1749—1832) сблизился с представителями «Sturm und Drang» в начале 70-х годов. Первым крупным плодом этого сближения явилась его трагедия «Гец фон-Берлихинген» (1773). Гетевский Гец не похож на действительного, исторического Геца. В действительности Гец был предателем по отношению

к восставшим крестьянам, во главе одного из отрядов которых он стал в 1525 г. У Гете же он представлен в образе благородного рыцаря, самоотверженно борющегося за общее благо против развратного мира князей, корыстолюбивых адвокатов и придворных. Он—носитель здоровых бюргерских добродетелей, хороший семьянин, «храбрый и великодушный на свободе, спокойный и верный в беде» (по характеристике его близких). Его революционность, главным образом, у Гете и заключается в том, что он порокам княжеского общества противопоставляет свою бюргерскую (хотя он и дворянин) честь, храбрость и прямоту. Он борется против зла вообще, за общие человеческие идеалы. Умирая, он говорит своей жене: «Я покидаю тебя в развращенном мире... Настают времена вероломства, и ему дана воля. Негодяи будут править силой коварства, и благородные будут попадаться в их сети». Протест Геца лишен остроты. Гете не хотел заострять социальных мотивов в своей трагедии. Гец представлен у него в виде борца против безнравственности и лжи в мире вообще, а не в виде защитника определенного общественного строя—тем менее в виде защитника крестьянских масс, которым он, в сущности, и не сочувствует. Он упрекает крестьян в том, что они «свиристуют и разоряют край» и ставит своей целью удержать их от «злодейств». Крестьяне от него скоро отходят, и в этом заключается как бы признание самого Гете в том, что и он (в период своего «штюрмерства») не ценил поддержки масс и предпочитал им гордое одиночество.

Еще более отвлеченным протестом против мировой несправедливости проникнуто другое «бунтарское» произведение Гете—его драматический отрывок «Прометей» (1773). В нем титан Прометей представлен в виде непокорного «бурного гения», не желающего подчиняться высшей власти Юпитера. Он восклицает, обращаясь к Юпитеру: «Мне чтить тебя? Бывало ль, чтоб скорбь ты утолил обремененного? Когда ты слезы осушил у угнетенного?» Благодаря мифологическому сюжету, положенному Гете в основание отрывка, протест Прометея носит еще более общий и расплывчатый характер, чем протест Геца. При этом протест ослабляется тем, что Гете имел в виду в конце концов, по-видимому, примирить Прометея с богами.

Особенно характерным для периода гетевского «штюрмерства» является его роман «Страдания молодого Вертера» (1774). В нем представлен сильно и глубоко чувствующий молодой человек, болезненно реагирующий на жизненные невзгоды, проникнутый «мировой скорбью», осложненной несчастной любовью. Под бременем своих несчастий и недовольства жизнью он кончает самоубийством. Протест Вертера против жизненного зла выражается в этом романе не

действием, хотя бы и во имя общечеловеческих идеалов, как у Гете и у Прометея, а слезами и меланхолией. Ни в каком другом произведении Гете бессилие немецких «штюрмеров», их неприспособленность к жизни и к активным действиям не были показаны с такой силой, как в «Страданиях молодого Вертера».

ИОГАНН-ФРИДРИХ
ШИЛЛЕР

Через то же увлечение «штюрмерством» прошел и другой гений немецкой буржуазной литературы — Шиллер (1759—1805). У Шиллера это увлечение падает, главным образом, на первую половину 80-х годов. Протест против действительности, возмущение против тогдашнего общества приняли у него более резкий характер, чем у Гете. К «штюрмеровскому» периоду творчества Шиллера относятся его драмы «Разбойники», «Заговор Фиеско» и «Коварство и любовь». В «Разбойниках» (1780) выведен пламенный юноша Карл Моор; это идеалистически настроенный бунтарь, проникнутый страстным желанием уничтожить мир неправды, объявляющий, по словам Энгельса, «открытую войну всему обществу». Оклеветанный негодяем-братом перед своим отцом, он уходит в лес и становится разбойником. Его идеалом является республика, основанная на принципах «общественного договора» Руссо, его героем — непоколебимый стойк Юний Брут. Его революционное настроение чрезвычайно решительно: «Поставьте меня во главе войска таких же молодцев, как я,—говорит он,—и Германия станет республикой, перед которой Рим и Греция покажутся женскими монастырями». Но Карл Моор, как и другие «бурные гении», оторван от масс, и поднятое им восстание — это восстание одиночек, ни на кого не опирающихся. Объективно это и должно было явиться основной причиной неудачи поднятой им борьбы со злом. Но сам Шиллер, в согласии со своим идеалистическим мировоззрением, объясняет эту неудачу иначе: не оторванностью Моора от народа, а тем, что своей разбойничьей деятельностью он нарушил нравственный долг, захотел «исправить свет злодеяниями и поддержать законы беззакониями». Отсюда вытекает конечное осуждение как самим Моором, так, очевидно, и Шиллером, всего дела, поднятого Моором. Он приходит к выводу, что мир нужно исправлять не мерами насилия, а перевоспитанием людьми самих себя на основе морального долга. Первым актом такого внутреннего перевоспитания и является то, что Моор добровольно сдался властям. Таким образом, уже в этой трагедии заложено зерно будущего примиренчества Шиллера и содержится, правда, еще не резко выраженная, подмена активной борьбы с общественным злом индивидуальной работой над собственным самосовершенствованием.

Другая трагедия Шиллера этого периода — «Заговор Фие-

ско» (1782—1783). И она проникнута духом республиканского возмущения против произвола княжеской власти и против разврата князей. Борцом против феодально-абсолютистского строя здесь выступает молодой аристократ Фиеско. Но и он не связан с массами, которые показаны в трагедии общественно неразвитыми и несознательными. «Трусливых больше, чем храбрых,—говорит Фиеско,—глупых больше, чем умных». Поднятое им движение не удастся, но опять-таки неудача его приписывается Шиллером, как и в «Разбойниках», не отсутствию социальной базы, а психологическому конфликту в душе самого Фиеско, тому, что он ставит свое честолюбие выше народного блага, не может преодолеть эгоистического стремления к возвышению и принимает герцогский титул.

Самым реалистическим произведением Шиллера в этот период является трагедия «Коварство и любовь»; сюжет ее взят из хорошо знакомой Шиллеру бюргерской жизни современной ему Германии. В ней выведена бюргерская семья Миллеров, подвергающаяся унижениям и оскорблениям со стороны придворной знати. Положительным героем трагедии является сын важного герцогского чиновника Фердинанд, пылкий и благородный юноша, отец которого не хочет допустить его брака с любимой им дочерью Миллера и для того, чтобы расстроить брак, опутывает сеть интриг и лжи его невесту. В результате и Фердинанд, и любимая им девушка гибнут жертвой этих интриг. Противоположение простого и честного бюргерства, с одной стороны, и лживого, развращенного феодально-аристократического мира, с другой — дано в «Коварстве и любви» с такой обличительной силой и с такой верностью действительности, что трагедия вошла в историю литературы как образец лучшего типа «мещанских драм» (подобно некоторым драмам Лессинга).

Но положительные идеалы главного героя трагедии — Фердинанда так же расплывчаты и лишены социальной определенности, как и идеалы других «бурных гениев»; они не идут дальше пышной декламации о «человечности», добродетели и чести. И Фердинанду, и, по-видимому, самому Шиллеру недостаточно ясна связь личных пороков среди аристократии с социальным и политическим строем того времени; вследствие этого нападки Фердинанда обращены больше на пороки аристократического общества, чем на уродства общественного строя. В соответствии с этим Фердинанд говорит: «Мой идеал... сосредоточен во мне самом. Все мои желания сохранены у меня в сердце».

Путь к примирению с действительностью, таким образом, был заложен уже в юношеских произведениях Гете и Шиллера. С годами оба совершенно отошли от своего молодого «бунтарства», и примирение их с действительностью стало уже полным. С половины 80-х годов Гете и Шиллер — в зна-

чительной степени под влиянием Винкельмана—увлеклись античной древностью. Античность для них была привлекательна потому, что в идеальных созданиях ее искусства и поэзии, по их мнению, господствовала полная гармония и не было противоречий и борьбы (см. особенно у Шиллера «Боги Греции», 1786, и «Художники», 1788). С другой стороны, оба поэта пишут трагедии, в которых прославляются уже не бунтари, а уравновешенные спокойные люди, готовые на примирение с властями или возлагающие все свои надежды на реформы сверху. Гете пишет трагедию «Эгмонт» (закончена в 1787 г.), в которой одноименный герой нидерландской революции представлен в виде благородного, но покорного судьбе юноши, стремящегося только к реформам, но не к разрушениям. Шиллер же в «Дон-Карлосе» выводит благородного аристократа-маркиза Позу, который своей задачей ставит возбудить добрые чувства в короле Филиппе II. Основная мысль «Дон-Карлоса» сходна с идеями просвещенного абсолютизма и заключается в том, что преобразование общества может совершиться лишь через деятельность великодушных государей и их хороших советников. Даже исторические работы Шиллера конца 80-х и начала 90-х годов («История отпадения Нидерландов», 1788, «История 30-летней войны», 1791—1793) проникнуты симпатиями к умеренности и защищают необходимость уступок с обеих сторон.

Эта примиренческая идеология определила отношения обоих поэтов к французской революции. Как и все передовые люди Германии, они встретили ее начало с большими симпатиями. Гете с его верным практическим чутьем хорошо понял ее всемирноисторическое значение (чего нельзя сказать о Шиллере). В день битвы при Вальми он, присутствуя среди офицеров разбитой немецкой армии, сказал им: «Здесь и сегодня, господа, начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что при этом присутствовали». Шиллер же получил (подобно Клопштоку) от Конвента звание гражданина Французской республики. Но потом, когда во Франции начался период террора, особенно после казни короля, оба поэта порвали со своими симпатиями к революции. Гете в драме «Возбуждение» (1793) и в комедии «Гражданский генерал» (1793) проводит полемическую по отношению к террору мысль о благотворности мирного сожительства между различными сословиями, а еще позднее, в «Девушке из Оберкирха», изображает революцию как нечто дикое и позорное. Шиллер также осуждает революцию за ее «аморальный» и стихийно разрушительный характер (особенно в «Песне о колоколе», 1799).

Заканчивая обзор основных форм и содержания немецкой буржуазной культуры XVIII века, мы должны еще раз подчеркнуть, что самой характерной ее чертой была двойствен-

ность и постоянные колебания. В Германии XVIII века не было недостатка ни в талантах, ни даже в недовольстве действительностью. Ведь в это время, по словам Энгельса, «родились все великие умы Германии».¹ Но общественная жизнь в ней не была развита; связи между отдельными ее частями почти отсутствовали; буржуазия была слаба и несамостоятельна, передовые ее деятели были оторваны от масс и неспособны к роли руководителей. Лучшие буржуазные умы понимали недостатки и уродства тогдашней жизни, и у многих из них они вызывали даже чувство горячего возмущения. Но ввиду неразвитости общественной жизни их недовольство и возмущение не находили себе точек приложения для борьбы с феодально-абсолютистской действительностью. Отрицательное отношение к ней принимало поэтому революционный характер. Оно выражалось в различных формах. Мы характеризовали выше вялое, половинчатое полупросветительство Вольфа и Николаи, мечтательный идеализм Клопштока, стремление примирить непримиримые противоположности (Кант), пропаганду самосовершенствования (Гердер, отчасти Гете и Шиллер) или бегство от действительности в мир «чистого искусства» (Винкельман), бурное, но политически бессильное возмущение, всем пошлым и обыденным («бурные гении»). Лучшие произведения того времени были проникнуты духом негодования против современного им строя. Но это негодование соединялось с антиобщественным индивидуализмом, с идеализмом, иногда даже с мистицизмом и почти всегда—с примиренческими настроениями. Потребовалось время, чтобы оно могло дать свои плодотворные действительные результаты. Но это время наступило уже за пределами XVIII века.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, *Соч.*, т. V, стр.